

**МИКЛУХО-МАКЛАЙ Н. Н.**

## **НОВАЯ ГВИНЕЯ**

**сентябрь 1871-декабрь 1872 г.**

### **Первое пребывание на Берегу Маклая в Новой Гвинее**

**(от сент. 1871 г. по дек. 1872 г)**

19 сентября 1871 г. около 10 час. утра показался, наконец, покрытый отчасти облаками высокий берег Новой Гвинее (*Место сноски в рукописи не указано; определено нами по смыслу*). Вышед из Кронштадта 27 окт. 1870 г. и заходя в Копенгаген, Плимут, о. Мадеру, о. С. Винцент (один из о-вов Зеленого мыса), Рио-де-Жанейро, Пунто-Аренас и бухту св. Николая в Магеллановом проливе, Талькахуано, Вальпарайзо, о. Рапа-Нуи, о. Мангареву, Папеити (на о. Таити), Апию на о. Уполу, одном из о-вов Самоа, о. Ротуму и Port Praslin (на о. Новой Ирландии), мы на 346-й день увидели берег о. Новой Гвинее).

Корвет «Витязь» шел параллельно берегу Новой Британии из Port Praslin (Новой Ирландии), нашей последней якорной стоянки. Открывшийся берег, как оказалось, был мыс King William, находящийся на северо-восточном берегу Новой Гвинее. Высокие горы тянулись цепью параллельно берегу (на картах они обозначены именем Финистер; высота их превышает 10 000 фут. (*<Место сноски в рукописи не указано; определено нами по смыслу>*). Горы Финистер (или, как туземцы называют их, Мана-Боро-Боро), достигающие высоты с лишком 10 000 фут, тянутся параллельно берегу, т. е. в WNW направлении, и представляют род высокой стены, круто поднимающейся от моря, так как высочайшие вершины их находятся, приблизительно милях в 40 от него. Влажный воздух, встречая эту стену, поднимается и, охлаждаясь, образует облака, которые мало-помалу закрывают часов в 10 или 11 утра весь хребет, за исключением более низких гор (1500 или 2000 фут вышины). Накопившиеся в продолжение дня облака должны разрешиться к ночи, при быстром понижении температуры, сильным ливнем, сопровождаемым обыкновенно грозою. Таким образом, к утру облака снова исчезают с гор, и хребет Финистер бывает виден во всех деталях)). В проходе между о. Рук и берегом виднелись не сколько низких островков, покрытых растительностью. Течение было попутное, и мы хорошо подвигались вперед. Часу во втором корвет «Витязь» настолько приблизился к берегу Новой Гвинее, что можно было видеть характерные черты страны. На вершинах гор лежали густые массы облаков, не позволявшие различать верхние их очертания; под белым слоем облаков по крутым скатам гор чернел густой лес, который своим темным цветом очень разнился от береговой полосы светло-зеленого цвета (Светло-зеленый цвет оказался цветом высокой травы (разные виды Imperata) на поляне по скатам гор).

Береговая полоса возвышалась террасами или уступами (высоты приблизительно до 1000 фут) и представляла очень характеристичный вид. Правильность этих террас более заметна внизу, на небольшой высоте. Многочисленные ущелья и овраги, наполненные густою зеленью, пересекали эти террасы и соединяли таким образом верхний (*Анучиным вписано*: лес) с прибрежным узким поясом растительности. В двух местах на берегу виднелся дым, свидетельствующий о присутствии человека. В иных местах береговая полоса становилась шире, горы отступали более в глубь страны, и узкие террасы, приближаясь к морю, превращались в обширные поляны, окаймленные темною зеленью.

Около 6 часов вечера отделился от берега маленький островок, покрытый лесом. Между светлою зеленью кокосовых пальм на островке видны были крыши хижин, и по берегу

можно было различить и людей. У островка впадала речка, которая, судя по извилистой линии растительности, протекала по поляне. Не найдя удобного якорного места, мы (90 сажень пронесло) прекратили пары, и корвет «Витязь» лег в дрейф. Вечер был ясный, звездный, только горы оставались закрыты, как и днем, облаками, которые спустились, казалось, ниже, соединясь с белою пеленою тумана, разостлавшегося вдоль берега у самого моря. Из темных туч на вершинах часто сверкала молния, причем грома не было слышно.

20 сентября. За ночь попутное течение подвинуло нас к северу миль на 20. Я рано поднялся на палубу, рассчитывая увидеть до восхода солнца вершины гор свободными от облаков. И действительно, горы ясно были видны и представляли мало отдельных вершин, а сплошную высокую стену почти повсюду одинаковой высоты. При восходе солнца вершина и подошва гор были свободны от облаков, посередине их тянулись белые *strati* (*Анучиным* *вписано*: (слоистые облака)). Поднявшееся солнце осветило берег, на котором ясно можно было различить три или четыре параллельных, громоздившихся один над другим хребта. По мере того как мы подвигались вперед, вид берега изменялся. Террас более не было, а к высоким продольным хребтам примыкали неправильные поперечные ряды холмов, между которыми, вероятно, протекали речки. Растительности было более.

Около 10 1/2 часов, подвигаясь к заливу Астроляб, мы увидели перед собою два мыса: южный — мыс Риньи и северный — мыс Дюпере, оба невысокие, и второй далеко выдающийся в море (Мыс Дюпере, названный так Дюмон д'Юрвилем, оказался не мысом материка Новой Гвинеи, а одним из островков архипелага, который я впоследствии назвал архипелагом Довольных людей). Облака понемногу заволокли вершины высоких хребтов; громадные кучевые облака, клубясь и изменяя форму, легли на них. По склонам невысоких холмов виднелись кое-где густые столбы дыма. Стало довольно тепло: в тени термометр показывал 31° С. Часам к 12 мы были среди большого залива Астроляб.

На предложенный мне командиром корвета «Витязь» капитаном второго ранга (В 1883 г. > П. Н. Назимов был произведен в контр-адмиралы) Павлом Николаевичем Назимовым вопрос, в каком месте берега я желаю быть высаженным, я указал на более высокий левый берег, предполагая, что правый, низкий, может оказаться нездоровым. Мы долго вглядывались в берег залива, желая открыть хижины туземцев, но кроме столбов дыма на холмах ничего (ничего *вписано Анучиным*) не заметили; подойдя, однако ж, еще ближе к берегу, старший офицер П. П. Новосильский закричал, что видит бегущих дикарей. Действительно, можно было различить в одном месте песчаного берега несколько темных фигур, которые то бежали, то останавливались.

Около того места выделялся небольшой мысок, за которым, казалось, находилась небольшая бухта. Мы направились туда, и предположение относительно существования бухты оправдалось. Войдя в нее, корвет «Витязь» стал на якорь саженьях в 70 от берега на 27 саженьях глубины. Громадные деревья, росшие у самой окраины приглыбого (У самого берега глубина была несколько сажень) скалистого поднятого кораллового рифа берега бухточки, опускали свою листву до самой поверхности воды, и бесчисленные лианы и разные паразитные растения образовывали своими гирляндами положительную занавесь между деревьями, и только северный песчаный мысок этой бухточки был открыт. Вскоре группа дикарей появилась на этом мыске. Туземцы казались очень боязливыми. После долгих совещаний между собою один из них выдвинулся из группы, неся кокосовый орех, который он положил у берега и, указывая на него мимикой, хотел, казалось, объяснить, что кокос этот назначается для нас, а затем быстро скрылся в чаще леса.

Я обратился к командиру корвета с просьбою дать мне четверку, чтобы отправиться на берег, но когда узнал, что для безопасности предположено отправить еще и катер с вооруженною командою, я попросил дать мне шлюпку без матросов, приказал своим обоим слугам Ульсону и Бою спуститься в шлюпку и отправился знакомиться с моими соседями, захватив предварительно кой-какие подарки: бусы, красную бумажную материю, разорванную на куски и на узкие ленточки, и т. п.

Обогнув мысок, я направился вдоль песчаного берега к тому месту, где мы впервые увидели туземцев. Минут через 20 приблизился к берегу, где и увидел на песке несколько туземных пирог. Однако мне не удалось здесь высадиться по случаю сильного прибоя. Между тем из-за кустов показался вооруженный копьем туземец и, подняв копье над головой, пантомимою хотел мне дать понять, чтоб я удалился. Но когда я поднялся в шлюпке и показал несколько красных тряпок, тогда из леса выскочили около дюжины вооруженных разным дрекольем дикарей. Видя, что туземцы не осмеливаются подойти к шлюпке, и не желая сам прыгать в воду, чтоб добраться до берега, я бросил мои подарки в воду, надеясь, что волна прибьет их к берегу. Туземцы при виде этого энергически замахали руками и показывали, чтобы я удалился. Поняв, что присутствие наше мешает им войти в воду и взять вещи, я приказал моим людям грести, и едва только мы отошли от берега, как туземцы наперегонку бросились в воду, и красные платки были моментально вытащены. Несмотря, однако, на то, что красные тряпки, казалось, очень понравились дикарям, которые с большим любопытством их рассматривали и много толковали между собой, никто из них не отважился подойти к моей шлюпке.

Видя такой неуспех завязать первое знакомство, я вернулся к корвету, где узнал, что видели дикарей в другом месте берега. Я немедленно отправился (отправился *вписано Анучиным*) в указанном направлении, но и там не оказалось дикарей; только в маленькой бухточке далее виднелись из-за стены зелени, доходящей до самой воды, концы вытасненных на берег пирог. Наконец в одном месте берега между деревьями я заметил белый песок, быстро направился к этому месту, оказавшемуся очень уютным и красивым уголком; высадившись тут, увидел узенькую тропинку, проникавшую в чашу леса.

Я с таким нетерпением выскочил из шлюпки и направился по тропинке в лес, что даже не отдал никаких приказаний моим людям, которые занялись привязыванием шлюпки к ближайшим деревьям. Пройдя шагов 30 по тропинке, я заметил между деревьями несколько крыш, а далее тропинка привела меня к площадке, вокруг которой стояли хижинки с крышами, спускавшимися почти до земли. Деревня имела очень опрятный и очень приветливый вид. Срединка площадки была хорошо утоптана землею, а кругом росли пестролиственные кустарники и возвышались пальмы, дававшие тень и прохладу. Побелевшие от времени крыши из пальмовой листвы красиво выделялись на темно-зеленом фоне окружающей зелени, а ярко-пунцовые цветы китайской розы [...] (в *Анучиным вписано: (Hibiscus rosa sinensis)*) и желто-зеленые и желто-красные листья разных видов кротонов и *Coleus* оживляли общую картину леса, кругом состоящего из бананов, панданусов, хлебных деревьев [...] (*Анучиным вписано: арековых*) и кокосовых пальм. Высокий лес кругом ограждал площадку от ветра.

Хотя в деревне не оказалось живой души, но повсюду видны были следы недавно покинувших ее обитателей: на площадке иногда вспыхивал тлеющий костер, здесь валялся недопитый кокосовый орех, там — брошенное второпях весло; двери некоторых хижин были тщательно заложены какою-то корою и заколочены накрест [...] (*Анучиным вписано: пластинами расколотого бамбука*). У двух хижин, однако, двери остались открытыми: видно, хозяева куда-то очень торопились и не успели их запереть. Двери находились на высоте в двух футах, так что двери представлялись скорее окнами, чем

дверьми, и составляли единственное отверстие, чрез которое можно было проникнуть в хижину. Я подошел к одной из таких дверей и заглянул в хинину. В хижине темно — с трудом можно различить находящиеся в ней предметы: высокие нары из бамбука, на полу несколько камней, между которыми тлел огонь, служили опорой стоявшего на них обломанного глиняного горшка; на стенах висели связки раковин и перьев, а под крышей, почерневшей от копоти,— человеческий череп. Лучи заходящего солнца освещали теплым светом красивую листву пальм; в лесу раздавались незнакомые крики каких-то птиц. Было так хорошо, мирно и вместе чуждо и незнакомо, что казалось скорее сном, чем действительностью.

В то время как я подходил к другой хижине, послышался шорох. Оглянувшись в направлении, откуда слышался шорох, увидел в недалеких шагах как будто выросшего из земли человека, который поглядел секунду в мою сторону и кинулся в кусты. Почти бегом пустился я за ним по тропинке, размахивая красной тряпкой, которая нашлась у меня в кармане. Оглянувшись и видя, что я один без всякого оружия и знаками прошу подойти, он остановился. Я медленно приблизился к дикарю, молча подал ему красную тряпку, которую он принял с видимым удовольствием и повязал ее себе на голову. Папуас этот был среднего роста, темно-шоколадного цвета, с матово-черными, курчавыми, как у негра, короткими волосами, широким сплюснутым носом, глазами выглядывавшими из-под нависших надбровных дуг, с большим ртом, почти, однако же, скрытым торчащими усами и бороною. Весь костюм его состоял из тряпки шириною около 8 см, повязанной сначала в виде пояса, спускавшейся далее между ног и прикрепленной сзади к поясу, и двух тесно обхватывающих руку над локтем перевязей, род браслетов из плетеной сухой травы. За одну из этих перевязей или браслетов был заткнут зеленый лист *Piper betle*, за другую на левой руке — род ножа из гладко обточенного куска кости, как я убедился потом, кости казуара. Хорошо сложен, с достаточно развитой мускулатурой.

Выражение лица первого моего знакомца показалось мне довольно симпатичным; я почему-то подумал, что он будет меня слушаться, взял его за руку и не без некоторого сопротивления привел его обратно в деревню. На площадке я нашел моих слуг Ульсою и Боя, которые меня искали и недоумевали, куда я пропал. Ульсон подарил моему папуасу кусок табаку, с которым тот однако же, не знал, что делать, и, молча приняв подарок, заткнул его за браслет правой руки рядом с листом бетеля.

Пока мы стояли среди площадки, из-за деревьев и кустов стали показываться дикари, не решаясь подойти и каждую минуту готовые обратиться в бегство. Они молча и не двигаясь стояли в почтительном отдалении, зорко следя за нашими движениями.

Так как они не трогались с места, я должен был каждого отдельно взять за руку и притащить в полном смысле слова к нашему кружку. Наконец, собрав всех в одно место, усталый, сел посреди их на камень и принялся наделять разными мелочами: бусами, гвоздями, крючками для ужения рыбы и полосками красной материи. Назначение гвоздей и крючков они, видимо, не знали, но ни один не отказался принять.

Около меня собралось человек восемь папуасов; они были различного роста и по виду представляли некоторое, хотя и незначительное, различие. Цвет кожи мало варьировал; самый резкий контраст с типом моего первого знакомца представлял человек роста выше среднего, худощавый, с крючковатым выдающимся носом, очень узким, сдавленным с боков лбом; борода и усы были у него выбриты, на голове возвышалась целая шапка красно-бурых волос, из-под которой сзади спускались на шею окрученные пряди волос, совершенно похожие на трубкообразные локоны жителей Новой Ирландии. Локоны эти висели за ушами и спускались до плеч. В волосах торчали два бамбуковых гребня, на

одном из которых, воткнутом на затылке, красовались несколько черных и белых перьев казуара и какаду в виде веера. В ушах были продеты большие черепаховые серьги, а в носовой перегородке — бамбуковая палочка толщиной в очень толстый карандаш с нарезанным на ней узором. На шее, кроме ожерелья из зубов собак и других животных, раковин и т. п., висела небольшая сумочка, на левом же плече висел другой мешок, спускавшийся до пояса и наполненный разного рода вещами.

У этого туземца, как и у всех присутствовавших, верхняя часть рук была туго перевязана плетеными браслетами, за которыми были заткнуты различные предметы — у кого кости, у кого листья или цветы. У многих на плече висел каменный топор, а некоторые держали в руках лук почтенных размеров почти что в рост человека и стрелу более метра длины. При различном цвете волос, то совершенно черных, то выкрашенных красною глиною, и прически их были различные: у иных волосы стояли шапкою на голове, у других были коротко острижены, у некоторых висели на затылке вышеописанные локоны; но у всех волосы были курчавы, как у негров. Волоса на бороде завивались также в мелкие спирали. Цвет кожи представлял несколько незначительных оттенков. Молодые были светлее старых. Из этих впервые восьми встреченных мною папуасов четыре оказалось больных: у двоих элифантиазис изуродовал по ноге, третий представлял интересный случай psoriasis<sup>9</sup>, распространенный по всему телу, у четвертого спина и шея были усеяны чирьями, сидящими на больших твердых шишках, а на лице находилось несколько шрамов, следы, вероятно, таких же давно [...] (*Анучиным исправлено и вписано: давнишних чирьев*).

Так как солнце уже село, я решил, несмотря на интерес первых наблюдений, вернуться на корвет; вся толпа проводила меня до берега, неся подарки: кокосы, бананы и двух очень диких поросят, у которых ноги были крепко-накрепко связаны и которые визжали без устали; все было положено в шлюпку. В надежде еще более укрепить хорошие отношения с туземцами и вместе с тем показать офицерам корвета моих новых знакомых, я предложил окружавшим меня папуасам сопутствовать мне к корвету на своих пирогах. После долгих рассуждений человек пять поместились в двух пирогах, другие остались и даже, казалось, усиленно отговаривали более отважных от смелого и рискованного предприятия. Одну из пирог я взял на буксир, и мы направились к «Витязю». На полдороге, однако же, и более смелые раздумали, знаками показывая, что не хотят ехать далее, старались отдать буксир, между тем как другая, свободная пирога быстро вернулась к берегу. Один из сидевших в пироге, которую мы тащили за собою, пытался даже своим каменным топором перерубить конец, служивший буксиром. Не без труда удалось втащить их на палубу: Ульсон и Бой почти что насильно подняли их на трап. На палубе я взял пленников под руки и повел под полуют; они от страха тряслись всем телом, не могли без моей поддержки держаться на ногах, полагая, вероятно, что их убьют. Между тем совсем стемнело, под ют был принесен фонарь, и дикари мало-помалу успокоились, даже повеселели, когда офицеры корвета подарили им разные вещи, угостили чаем, который они сразу выпили. Несмотря на такой любезный прием, они с видимым удовольствием и с большою поспешностью спустились по трапу в свою пирогу и быстро погребли обратно к деревне.

На корвете мне сказали, что в мое отсутствие показались опять туземцы, принесли с собою двух собак, которых тут же убили и оставили тела их в виде подарка на берегу.

*21 сентября.* Берег залива Астроляб в том месте, где «Витязь» бросил якорь, горист; несколько параллельных цепей гор различной вышины тянутся вдоль берега и только на WNW берегу прерываются низменностью. NW берег горист, хотя не так высок, как южный, и оканчивается невысоким мысом.

Все эти горы (из которых высочайшая достигает приблизительно от пяти до шести тысяч футов) покрыты густою растительностью до самых вершин и пересечены во многих местах поперечными долинами. Иногда горы приближаются почти до самого берега, чаще же между первыми холмами и морем тянется невысокая береговая полоса. Лес же в некоторых местах спускается до самого моря, так что нижние ветви больших деревьев находятся в воде. Во многих местах берег окаймляется коралловыми рифами и реже представляется отлогим и песчаным, доступным приливам, и в таком случае служит удобною пристанью для туземных пирогов. Около таких мест обыкновенно находятся, как я узнал впоследствии, главные береговые селения папуасов. Все эти наблюдения я сделал на рассвете на мостике корвета и остался вполне доволен общими видами страны, которую избрал для исследования и, быть может, продолжительного пребывания. После завтрака я снова отправился в деревню, в которой был вчера вечером. Мой первый знакомый, папуас Туй, и несколько других вышли ко мне навстречу.

В этот день на корвете должен был быть молебен по случаю дня рождения вел. кн. Константина Николаевича и установленный пушечный салют; я поэтому решил остаться в деревне среди туземцев, которых сегодня набралось несколько десятков, чтобы моим присутствием ослабить несколько страх, который могла произвести на туземцев пальба.

Но так как времени до салюта оставалось еще достаточно, то я отправился приискать место для моей будущей хижины. Мне не хотелось селиться в самой деревне и даже вблизи ее, во-первых, потому, что не знал ни характера, ни нравов моих будущих соседей; во-вторых, незнакомство с языком лишало возможности испросить на то их согласие; навязывать же мое присутствие я считал бестактным; в-третьих, очень не любя шум, боялся, что вблизи деревни меня будут беспокоить и раздражать крики взрослых, плач детей и вой собак.

Я отправился из деревни по тропиночке и минут через 10 подошел к маленькому мыску, возле которого протекал небольшой ручей и росла группа больших деревьев. Место это показалось мне вполне удобным как по близости к ручью (*Анучиным вписано: и уединенности*), так и потому, что находилось почти на тропинке, соединявшей, вероятно, соседние деревни. Наметив, таким образом, место будущего поселения, я поторопился вернуться в деревню, но пришел уже во время салюта. Пушечные выстрелы, казалось, приводили их больше в недоумение, чем пугали. При каждом новом выстреле туземцы то пытались бежать, то ложились на землю и затыкали себе уши, тряслись всем телом, точно в лихорадке, приседали. Я был в очень глупом положении: при всем желании успокоить их и быть серьезным не мог часто удержаться от смеха; но вышло, что мой смех оказался самым действительным средством против страха туземцев, и так как смех вообще заразителен, то я заметил вскоре, что и папуасы, следуя моему примеру, начали ухмыляться, глядя друг на друга.

Довольный, что все обошлось благополучно, я вернулся на корвет, где капитан Назимов предложил мне отправиться со мною для окончательного выбора места постройки хижины. К нам присоединились старший офицер и доктор. Хотя, собственно, мой выбор был уже сделан, но посмотреть еще другие места, которые могли оказаться лучшими, было не лишнее. Из трех осмотренных нами мест одно нам особенно понравилось: значительный ручей впадал здесь в открытое море; но, заключая по многим признакам, что туземцы имеют обыкновение приходить сюда часто, оставляют здесь свои пироги, а недалеко обрабатывают плантации, я объявил командиру о моем решении поселиться на первом, избранном мною самим месте.

Часам к 3 высланы с корвета люди, занялись очисткою места от кустов и мелких деревьев, плотники принялись за постройку хижины, начав ее с забивки свай под тенью двух громадных *Canarium commune*.

22, 23, 21, 25 сентября. Все эти дни я был занят постройкою хижины. Часов в 6 утра съезжал с плотниками на берег и оставался там до спуска флага. Моя хижина имеет 7 футов ширины и 14 длины и разгорожена пополам перегородкой из брезента (крашенная парусина). Одну половину я назначил для себя, другую для моих слуг — Ульсона и Боя. Так как взятых из Таити досок не хватило, то стены сделаны из дерева только наполовину, нижние; для верхних же, равно и двух дверей, опять служит брезент, который можно было скатывать. Для крыши заготовлены были особенным образом сплетенные из листьев кокосовой пальмы циновки; работу эту я поручил Бою. Пол, половина стен и стойки по углам были сделаны из леса, купленного в Таити и приспособленного на корвете. Сваи, верхние скрепления, стропила пришлось вырубать и выгонять уже здесь; но благодаря любезности командира корвета рук было много, постройка шла успешно.

Туземцы, вероятно, напуганные пальбою 21-го числа и присутствием большого количества людей с корвета, мало показывались, 2—3 человека, и то редко. Офицеры корвета занялись съемкою бухты и при этом посетили пять или шесть прибрежных деревень, где за разные мелочи (бусы, пуговицы, гвозди, пустые бутылки и т. п.) набрали множество разного оружия и утвари и выменяли, между прочим, также более десятка черепов.

Многие местности получили названия: небольшая бухточка, где «Витязь» стоит на якоре, названа в честь е. и. в. генерал-адмирала и президента имп. Русского Географического общества портом вел. кн. Константина. Все мыски были окрещены именами офицеров, делавших съемку, а остров, который виднелся у мыса Дюпере, назвали островом «Витязя» (впоследствии я узнал, что [...] *Анучиным* вписано: туземное имя) его о. Били-Били).

25-го числа Бой начал крыть крышу, потому что завтра последний день пребывания корвета. Между тем приходил мой доброжелатель Туй и своей выразительной мимикой старался объяснить, что когда корвет уйдет (при этом он указал на корвет и далекий горизонт) и мы останемся втроем (он указал на меня, Ульсона и Боя и на землю), придут из соседних деревень туземцы (указывая на лес и как бы называя деревни), разрушат хижину (тут он подошел к сваям, делая вид, как бы рубит их) и убьют нас копьями (тут он выпрямился, отставил одну ногу назад и, закинув правую руку над головой, имел вид человека, бросающего копье; затем подошел ко мне, толкнул меня несколько раз в грудь пальцем и, наконец, полузакрыв глаза, открыв немного рот и высунув кончик языка, принял положение человека, падающего на землю; те же мимические движения он проделал, указывая поочередно на Ульсона и Боя). Очень хорошо понимая предостережения Туя, я сделал, однако же, вид, что не понял его. Тогда он снова стал называть (называть *вписано Анучиным*) имена деревень: Бонгу, Горенду, Гумбу и т. д., показывать, что рубит сваи; на все это я только махнул рукой и подарил ему гвоздь.

Возвратясь на корвет, я рассказал виденную мною пантомиму в кают-компании, что, вероятно, побудило одного из офицеров, лейтенанта С. Чирикова, заведывавшего на «Витязе» артиллерийскою частью, предложить мне приготовить несколько мин и расположить их вокруг моего дома. Я не отказался от такого средства защиты в случае крайней необходимости, если бы туземцы действительно вздумали явиться с теми намерениями, о которых старался объяснить мне Туй.

26 сентября. Лег вчера в 11 часов вечера, встал сегодня в 2 часа утра. Все утро посвятил корреспонденции в Европу и сборам. Надо было разобраться с вещами, часть которых оставалась в Гвинее, а другая отправлялась обратно с корветом в Японию.

Отправляясь в Новую Гвинею не с целью кратковременного путешествия, а продолжительного, в течение нескольких лет жителя, я уже давно пришел к заключению, что мне следует быть независимым от пищи европейской. Я знал, что плантации папуасов не бедны, свиней они также имеют; главным же образом охота могла всегда доставлять мне средство пропитания. Вследствие этого и после многих месяцев жизни на судне, в море, где консервы играют всегда значительную роль и немало успели надоесть мне, я совершенно равнодушно отнесся к обеспечению себя провизией в последнем порте. Я взял кое-что, но так мало, что Павел Николаевич Назимов очень удивился и предложил мне весьма любезно уделить многое из своей провизии, которую я принял с благодарностью и которая могла мне пригодиться в случае болезни. Он оставил мне также самую малую из шлюпок корвета, именно четверку, с которою в крайности может управиться и один человек. Иметь шлюпку было для меня удобно в высшей степени, так как при помощи ее я мог ознакомиться с другими береговыми деревнями, а в случае полной неудачи добиться доверия туземцев она давала мне возможность переселиться в другую, более гостеприимную местность. Кончив разборку вещей на корвете, после завтрака я стал перевозиться. Небольшое мое помещение скоро переполнилось вещами до такой степени, что значительное число ящиков пришлось поставить под домом для предохранения их от дождя, солнца и расхищения.

Между тем с утра еще лейтенант Чириков был занят устройством мин, расположив их полукругом для защиты при нападении дикарей со стороны леса, а человек тридцать матросов под наблюдением лейтенанта Перелешина и гардемарина Верениуса занимались расчисткой места около дома, так что получилась площадка в 70 м длины и 70 м ширины, окруженная с одной стороны морем, а с трех — густым лесом. П. Н. Назимов был также некоторое время около хижины и помогал мне своими советами. Я указал, между прочим, командиру и офицерам место, где я зарюю в случае надобности (серьезной болезни, опасности от туземцев и т. п.) мои дневники, заметки и т. д. (Мне кажется здесь подходящим объяснить, что я это сделал вследствие следующего обстоятельства. Когда перед уходом корвета «Витязь» из Кронштадта е. и. в. вел. кн. Константин Николаевич 17 октября 1870 г. осматривал суда, отправляющиеся в Тихий океан (корвет «Витязь», клипер «Изумруд», лодки «Ермак» и «Тунгуз»), е. и. в. при осмотре корвета зашел и в мою каюту, где, между прочим, великий князь милостиво спросил меня, не может ли он что-либо для меня сделать. На это я отвечал, что все, что я желал, уже сделано, так как я уже нахожусь на корвете, который перевезет меня на берега Новой Гвинеи, и что мне остается только выразить мою глубочайшую благодарность е. и. в. за помощь моему предприятию. Когда же великий князь предложил еще раз подумать, не надо ли мне чего, мне пришла мысль, которую я выразил приблизительно в следующих словах: «Вашему и. в. известно, что так как цель моего путешествия в Новую Гвинею — научные исследования этого малоизвестного острова, то для меня очень важно, чтобы результаты моих исследований и открытий не пропали для науки. Ввиду того, что я не могу сказать заранее, как долго мне придется прожить в Новой Гвинее, так как это будет зависеть от местной лихорадки и от нрава туземцев, я принял предосторожность запастись несколькими медными цилиндрами для манускриптов разного рода (дневников, заметок и т. п.), которые в этих цилиндрах могут пролежать зарытыми в земле несколько лет. Я был бы поэтому очень благодарен е. и. в., если можно было бы устроить таким образом, чтобы судно русское военное зашло через год или несколько лет в то место берега Новой Гвинеи, где я останусь, с тем чтобы, если меня не будет в живых, мои рукописи в цилиндрах были бы вырыты и пересланы имп. Русск. Географическому обществу».



Выслушав меня внимательно, е. и. в., пожимая мне на прощанье руку, сказал, что обещает не забыть ни меня, ни мои рукописи в Новой Гвине. Помня это обещание е. и. в. генерал-адмирала, я выбрал подходящее место для зарытия цилиндров и указал его офицерам «Витязя») Место это находилось под большим деревом недалеко от хижины; чтобы легче было найти его, на соответствующей стороне ствола кора была снята приблизительно на один фут в квадрате и вырезана фигура стрелы, направленной вниз .

Около 3 часов Порт Константин — имя, данное небольшой бухточке, у которой стояла моя хижина, представлял очень оживленный вид: перевозили последние дрова на корвет в маленьком паровом баркасе, шныряли взад и вперед шлюпки и вельботы, шестерка перевозила мои вещи, несколько раз отправляясь на корвет и возвращаясь к берегу. Около моей хижины работа также кипела: достраивалась хижина, копали ямы для мин, вырубались кусты, делая более удобный спуск от площадки, на которой стояла моя хижина, к песчаному берегу моря у устья ручья, и т. д.

К сожалению моему, я не мог присмотреть за всеми этими работами, пришлось возвращаться на корвет, так как еще не все вещи были уложены. Весь вечер провозился я с этими вещами, и без помощи В. П. Перелешина и А. С. Богомолова, которых я очень благодарю за их внимание ко мне и любезность, я бы не кончил уборки в тот вечер. Крайнее утомление, хлопоты последних дней и особенно вторая бессонная ночь привели меня в такое нервное состояние, что я почти не мог держаться на ногах, говорил и делал все совершенно машинально, как во сне. В час ночи я кончил укладку на корвете; оставалось еще перевезти последние вещи на берег и написать некоторые письма.

*27 сентября.* В 2 часа утра привез я последние вещи и у домика застал г. Богомолова, который принимал и сторожил мои вещи на берегу, в то время как Бой, проработавший весь день над крышей, спал непробудным сном. Хижина в такой степени завалена вещами, что с трудом нашлось достаточно места прилечь. Несмотря на самую крайнюю усталость, я не мог заснуть: муравьи и комары не давали покоя. Возможность, однако, хотя закрыть глаза, если не спать, значительно меня облегчила. Около четырех часов утра я вернулся на корвет, чтобы написать необходимые письма, не находя ни возможности, ни места сделать это в моем новом помещении. Что и кому писал сегодня утром, помню смутно; знаю только, что последнее письмо было адресовано е. и. в. вел. кн. Константину Николаевичу .

Поблагодарив за все бескорыстные оказанные мне услуги командира и офицеров корвета «Витязь» и простившись со всеми, я спустился в свою шлюпку и окончательно съехал на берег. Когда якорь корвета показался из воды, я приказал Ульсону спустить развевавшийся над деревом у самого мыска флаг, но заметив, что последний не спускается, подошел к Ульсону посмотреть, в чем дело, и к удивлению и негодованию увидел, что у моего слуги, обыкновенно так храбrivшегося на словах, руки дрожали, глаза полны слез, и он тихо всхлипывает. Взяв с досадою из его дрожавших рук флаг-линь, я сказал, что, пока корвет еще не ушел, он может на шлюпке вернуться, не мешкая, а то будет поздно. Между тем корвет выходил из Порта Константина, и я сам отсалютовал отходящему судну.

Первая мысль, пришедшая мне в голову, была та, что туземцы, пользуясь уходом огромного дымящегося страшилища, могут каждую минуту нагрянуть в мое поселение, разнести мою хижину и сваленные в беспорядке вещи и что отныне я предоставлен исключительно самому себе, все дальнейшее зависит от моей энергии, воли и труда. Действительно, как только корвет скрылся за горизонтом, на соседнем мыске показалась толпа папуасов, они прыгали и бегали, описывая круги, их движения были похожи на

какую-то пляску, по крайней мере все делали одни и те же движения. Вдруг все остановились и стали глядеть в мою сторону: вероятно, один из них заметил русский (национальный) флаг, развевавшийся у моей хижины. Они сбежались в кучку, переговорили, затем опять повернулись в мою сторону, прокричали что-то и скрылись.

Необходимо было немедленно же приступить к разборке вещей, разбросанных в беспорядке в хижине и шалаше; но от усталости, волнения и двух почти бессонных ночей я находился в весьма плачевном состоянии: голова кружилась, ноги подкашивались, руки плохо слушались.

Скоро пришел Туй разведать, остался ли я или нет, не с прежним добродушием поглядывал на меня, подозрительно осматривал мой дом, хотел войти в него, но я жестом и словом «табу» остановил его. Не знаю, что на него подействовало — жест или слово, но он вернулся на свое место. Туй знаками спрашивал, вернется ли корвет, на что я отвечал утвердительно. Желая избавиться от гостя, который мешал мне разбирать вещи, я просил его (я уже знал десятка два слов) принести кокосовых орехов, подарив ему при этом кусок красной тряпки. Он действительно сейчас же удалился, но не прошло и часу, как снова вернулся с двумя мальчиками и одним взрослым папуасом. Все они почти не говорили, сохраняя очень серьезное выражение лица; даже и маленький мальчик лет семи был погружен, смотря на нас, в глубокую задумчивость. Туй пытался заснуть или показывал вид, что спит, следя зорко по временам за моими движениями, так как, уже не стесняясь гостями, я продолжал устраиваться в моем помещении. Туй опять обошел все мины, подозрительно смотря на рычаги с привешенными камнями и веревками; они его, кажется, сильно интересовали, но он не осмеливался близко приближаться к ним. Наконец, он простился с нами, причем сделал странный кивок головою назад, проговорил что-то, чего я, однако, не расслышал и не успел записать (с первого дня знакомства с папуасами я носил постоянно в кармане записную книжку для записывания при каждом удобном случае слов туземного языка), и удалился.

Часов около четырех послышался свист, звонкий, протяжный, и из-за кустов выступил целый ряд папуасов с копьями, стрелами и другим дрекольем.

Я вышел к ним навстречу, приглашая знаками подойти ближе. Они разделились на две группы: одна, более многочисленная, поставив свое оружие около деревьев, приблизилась ко мне с кокосами и сахарным тростником; другая, состоящая из шести человек, осталась около оружия. Это были жители деревни за мыском, которых я наблюдал сегодня утром, по уходе корвета, прыгающими и бегающими. К этой деревне, которую называют Гумбу, я старался подойти на шлюпке в первый день прихода «Витязя» в Порт Константин. Я им подарил разные безделки и отпустил, показав, что хочу спать.

*28 сентября.* Лунный вечер вчера был очень хорош. Разделив ночь на 3 вахты, я взял на себя самую утомительную — вечернюю (от 9 до 12 часов).

Когда в 12 часов я был сменен Ульсоном, то вследствие сильного утомления долго не мог заснуть, так что ночь показалась мне, несмотря на все свое великолепие, очень длинною.

День прошел, как и первый, в разборке и установке вещей, что оказалось не так просто: вещей много, а места мало. Наконец, кое-как их разместил в несколько этажей, другие подвесил, третьи поместил на чердаке, который Ульсон и я ухитрились устроить под крышею. Одну сторону моей комнаты (7 фут длины и 7 фут ширины) занимает стол (около 2 фут ширины), другую — две корзины, образующие мою койку (не совсем 2 фута

ширины). В проходе, шириною около 3 фута, помещается мое удобное, необходимое складное кресло.

Папуасы вытаскивали из моря большие клетки или корзины продолговатой формы, в которых ловят рыбу. Бой (повар) приготовлял нам три раза есть и спросил в девятом часу, не сварить ли еще в четвертый раз немного рису.

Я сегодня отдыхал, никуда не ходил и решил спать всю ночь.

*29 сентября.* Проспал как убитый, не просыпаясь ни разу. Погода стоит очень хорошая. Целый день не было и признака папуасов. Я предложил моим людям последовать моему примеру, т. е. спать по ночам, так как узнал, что они разделили прошлую ночь на четыре вахты; но они не захотели, говоря, что боятся папуасов. На руках и на лбу образовались подушки от укушений комаров, муравьев и других бестий. Странное дело, я гораздо менее страдаю от этой неприятности, чем Ульсон и Бой, которые каждое утро приходят жаловаться на не дающих по ночам им покоя насекомых.

*30 сентября.* Днем видел только несколько туземцев; все, кажется, входит в свою обычную колею, которую приход корвета на время нарушил. Решил, однако же, быть очень осторожным во всех отношениях с туземцами. В описаниях этой расы напирают постоянно на их вероломство и хитрость; пока не составлю о них собственного мнения, считаю рациональным быть настороже. По вечерам люблюсь великолепным освещением гор, которое доставляет мне каждый раз новое удовольствие.

По уходе корвета здесь царствует всегда мне приятная тишина: не слышать почти людского говора, спора, брани и т. д., только море, ветер и порою какая-нибудь птица нарушают общее спокойствие. Эта перемена обстановки очень благотворно на меня действует — я отдыхаю. Потом эта ровность температуры, великолепие растительности, красота местности заставляют совершенно забывать прошлое, не думать о будущем и только любоваться настоящим. Думать и стараться понять окружающее — отныне моя цель.

Чего мне больше? Море с коралловыми рифами с одной стороны, лес тропической растительности с другой, то и другое полно жизни, разнообразия; вдаль горы с причудливыми очертаниями, над которыми клубятся облака с не менее фантастическими формами. Я лежал, думая обо всем этом, на толстом стволе повалившегося дерева и был доволен, что добрался до цели или вернее до первой ступени длиннейшей лестницы, которая должна привести к цели...

Пришел Туй, у которого взял урок папуасского языка. Я прибавил несколько слов к моему лексикону, точным образом записал их и, оставшись доволен учителем, подарил ящик от сигар, а Ульсон дал ему старую шляпу. Туй был в восторге и быстро удалился, как бы боясь, чтобы мы не раздумали и не взяли данных вещей назад, или желая скорей показать свои новые подарки своим соплеменникам.

Около часу спустя показалась вереница туземцев, человек около 25; впереди двое несли на плечах привешенного к бамбуковой палке поросенка, затем на головах посуду и, наконец, остальные — кокосовые орехи. Туй и много других знакомых были в толпе. Все свои дары туземцы положили на землю передо мной; потом каждый отдельно передал свой подарок мне в руки. Часть толпы отделилась от тех, которые расположились около меня. Туй объяснял им, что успел узнать об употреблении каждой вещи; те с большим интересом рассматривали каждую вещь, быстро переходя от одного предмета к другому.

Мало говорили и вообще не шумели. К лестнице, т. е. к дверям моего дома, они не подходили из деликатности или просто боязни — не знаю. Все знали мое имя и, обращаясь, называли по имени. Около Боя собрался кружок послушать его игру на маленьком железном инструменте — губной гармонии, которая на островах Самоа в большом ходу и на которой Бой играл с большим искусством. Музыка произвела необычайный эффект: папуасы обступили Боя и с видимым любопытством и удовольствием прислушивались к этой детской музыке. Они очень обрадовались, когда я им подарил несколько подобных гармоний, и тотчас же начали упражняться на новом инструменте. Просидев около часу, они ушли; при прощании протягивали левую руку. У весьма многих я заметил сильно развитый элифантиазис.

Часов в 10 вечера разразилась над нами сильная гроза, дождь лил ливнем, но крыша, к нашему общему удовольствию, не промокла.

*1 (В рукописи ошибочно 5) октября.* Проснувшись до рассвета, решил идти в одну из деревень — мне очень хочется познакомиться с туземцами ближе.

Отправляясь, я остановился перед дилеммой: брать или не брать револьвер? Я, разумеется, не знал, какого рода прием меня ожидает в деревне, но, подумав, пришел к заключению, что этого рода инструмент никак не может принести значительной пользы моему предприятию. Употреблю его в дело при кажущейся крайней необходимости, даже с полнейшим успехом, т. е. положи я на месте 6 человек, очень вероятно, что в первое время после такой удачи страх оградит меня; но надолго ли? Желание мести, многочисленность туземцев в конце концов превозмогут страх перед револьвером. Затем размышления совершенно иного рода укрепили мое решение идти в деревню вооруженным.

Мне кажется, что заранее человек не может быть уверен, как он поступит в каком-нибудь дотоле не испытанном им случае. Я не уверен, как я, имея револьвер у пояса, отнесусь, например, сегодня, если туземцы в деревне начнут обращаться со мною неподходящим образом, смогу ли я остаться совершенно спокойным и индифферентным на все любезности папуасов. Но я убежден, что какая-нибудь пуля, пущенная некстати, может сделать достижение доверия туземцев невозможным, т. е. совершенно разрушить все шансы на успех предприятия. Чем более я обдумывал мое положение, тем яснее становилось мне, что моя сила должна заключаться в спокойствии и терпении. Я оставил револьвер дома, но не забыл записную книжку и карандаш.

Я намеревался идти в Горенду, т. е. ближайшую от моей хижины деревню, но в лесу нечаянно попал на другую тропинку, которая, как я полагал, приведет меня все-таки в Горенду, но заметив, что я ошибся, я решил продолжать путь, будучи уверен, что тропа приведет меня в какое-нибудь селение. Я был так погружен в раздумье о туземцах, которых еще почти что не знал, о предстоящей встрече, что был изумлен, когда очутился, наконец, около деревни, но какой — я не имел и понятия.

Слышались несколько голосов мужских и женских. Я остановился для того, чтобы сообразить, где я и что должно теперь случиться.

Пока я стоял в раздумье, в нескольких шагах от меня появился мальчик лет 14 или 15. Мы молча с секунду поглядели в недоумении друг на друга... Говорить я не умел, подойти к нему — значило напугать его еще более. Я продолжал стоять на месте. Мальчик же стремглав бросился назад в деревню. Несколько громких возгласов, женский визг и затем полнейшая тишина.

Я вошел на площадку. Группа вооруженных копьями людей стояла посредине, разговаривая оживленно, но вполголоса между собою. Другие, все вооруженные, стояли поодаль; ни женщин, ни детей не было — они, вероятно, попрятались. Увидев меня, несколько копий были подняты, и некоторые из туземцев приняли очень воинственную позу, как бы готовясь пустить копьё. Несколько восклицаний и коротких фраз с разных концов площадки имели результатом, что копья были опущены. Усталый, отчасти неприятно удивленный встречей, я продолжал медленно подвигаться, смотря кругом и надеясь увидеть знакомое лицо. Такого не нашлось. Я остановился около варлы<sup>31</sup>, и ко мне подошли несколько туземцев. Вдруг пролетели, не знаю, нарочно ли или без умысла, одна за другой 2 стрелы, очень близко от меня. Стоявшие около меня туземцы громко заговорили, обращаясь, вероятно, к пустившим стрелы, а затем, обратившись ко мне, показали на дерево, как бы желая объяснить, что стрелы были пущены с целью убить птицу на дереве. Но птицы там не оказалось, и мне подумалось, что туземцам хочется знать, каким образом я отнесусь к сюрпризу, вроде очень близко меня пролетавших стрел. Я мог заметить, что как только пролетела первая стрела, много глаз обратились в мою сторону как бы изучая мою физиономию. Но, кроме выражения усталости и, может быть, некоторого любопытства, вероятно, ничего не открыли в ней. Я в свою очередь стал глядеть кругом — все угрюмые, встревоженные, недовольные физиономии и взгляды, как будто говорящие, зачем я пришел нарушить их спокойную жизнь. Мне самому как-то стало неловко: на что прихожу я стеснять этих людей. Никто не покидал оружия, за исключением двух или трех стариков. Число туземцев стало прибывать, кажется, другая деревня была недалеко, и тревога, вследствие моего прихода, дошла и туда. Небольшая толпа окружила меня; двое или трое говорили очень громко, как-то враждебно поглядывая на меня. При этом, как бы в подкрепление своих слов, они размахивали копьями, которые держали в руках. Один из них был даже так нахален, что копьем при какой-то фразе, которую я, разумеется, не понял, вдруг размахнулся и еле-еле не попал мне в глаз или в нос. Движение было замечательно быстро, и, конечно, не я был причиною того, что не был ранен, так как я не успел двинуться с места, где стоял, а ловкость и верность руки туземца, успевшего остановить конец копья своего в нескольких сантиметрах от моего лица. Я отошел шага на два в сторону и мог слышать несколько голосов, которые неодобрительно (как мне, может быть, показалось) отнеслись к этой бесцеремонности. В эту минуту я был доволен, что оставил револьвер дома, не будучи уверен, так же ли хладнокровно отнесся я ко второму опыту, если бы мой противник вздумал его повторить.

Мое положение было глупое: не умея говорить, лучше было бы уйти, но мне страшно захотелось спать. Домой идти далеко. Отчего же не спать здесь? Все равно, я не могу говорить с туземцами, и они не могут меня понять.

Недолго думая, я высмотрел место в тени, притащил туда новую циновку (вид которой, кажется, подал мне первую мысль — спать здесь) и с громадным удовольствием растянулся на ней. Закрывать глаза, утомленные солнечным светом, было очень приятно. Пришлось, однако же, полуоткрыть их, чтобы развязать шнурки башмаков, расстегнуть штiblеты, распустил пояс и найти подложить что-нибудь под голову. Увидел, что туземцы стали полукругом в некотором отдалении от меня, вероятно, удивляясь и делая предложения о том, что будет далее.

Одна из фигур, которую я видел пред тем, как снова закрыл глаза, оказалась тем самым туземцем, который чуть не ранил меня. Он стоял недалеко и разглядывал мои башмаки.

Я припомнил все происшедшее и подумал, что все это могло бы кончиться очень серьезно, и в то же время промелькнула мысль, что, может быть, это только начало, а конец еще впереди. Но если уж суждено быть убитым, то все равно, будет ли это стоя,

сидя, удобно лежа на циновке или же во сне. Далее подумал, что если пришлось бы умирать, то сознание, что при этом 2, 3 или даже 6 диких также поплатились жизнью, было бы весьма небольшим удовольствием. Был снова доволен, что не взял с собою револьвер.

Когда я засыпал, голоса птиц заняли меня; резкий крик быстро летающих лори несколько раз заставлял меня очнуться; оригинальная жалобная песня «коки» [...] (*Анучиным* *вписано*: *Chlamydodera*), напротив, наводила сон; треск цикад также несколько не мешал, а способствовал сну.

Мне кажется, я заснул скоро, так как встал очень рано и, пройдя часа 2 почти все по солнцу, с непривычки чувствовал большую усталость и в особенности усталость глаз от яркого дневного света.

Проснулся, чувствуя себя очень освеженным. Судя по положению солнца, должно было быть по крайней мере третий час. Значит, я проспал два часа с лишком. Открыв глаза, я увидел нескольких туземцев, сидящих вокруг циновки шагах в двух от нее; они разговаривали вполголоса, жуя бетель. Они были без оружия и смотрели на меня уже не так угрюмо. Я очень пожалел, что не умею еще говорить с ними, и решил идти домой, приведя мой костюм в порядок; эта операция очень заняла окружающих меня папуасов. Затем я встал, кивнул головой в разные стороны и направился по той же тропинке в обратный путь, показавшийся мне теперь короче, чем утром.

После 6 часов вечера поднялся довольно сильный ветер со шквалом и дождем; температура быстро понизилась. Темно делается уже в 7 часов; безлунные ночи, темень страшная, шагах в четырех от дома трудно его отличить.

<2 октября>. Всю ночь лил дождь ливнем. Утро пасмурное и опять идет мелкий дождь.

Муравьи здесь выводят из терпения, ползают по голове, забираются в бороду и очень больно кусаются. Бой до того искусан и так расчесал укушенные места, что ноги его распухли, а одна рука покрыта ранами. Обмыв раны разведенным нашатырным спиртом, перевязал более глубокие раны карболовой кислотой. Вечером зашел ко мне Туй, вооруженный копьем, и выпросил топор (ему необходимо перерубить что-то), обещая скоро возвратить; я поспешил исполнить его просьбу, интересуясь знать, что выйдет из этого опыта моей доверчивости. Курьезнее всего, что, еще не зная языка, мы понимали друг друга.

<3 октября>. Утром бродил при отливе по колено в воде, но ничего интересного не попало.

Папуасы притащили мне 4—5 длинных бамбуковых палок, футов в 20, для веранды.

Туй также принес мне бамбук, но о топоре ни слова. Нашел, что книги и рисунки кажутся туземцам чем-то особенно страшным; многие встали и хотели уйти, когда я им показал рисунок (портрет) из какой-то иллюстрации. Они просили меня унести скорее его в дом и только когда я это сделал, успокоились.

<4 октября>. Я напрасно усомнился в честности Туя: сегодня не было еще 6 часов, как он явился и принес топор. Довольный этою чертой характера моего приятеля, подарил ему зеркало, с которым он немедленно и убежал в деревню, вероятно, похвастаться подарком. Этот подарок побудил, вероятно, и других туземцев посетить меня. Они принесли мне

кокосов и сахарного тростнику, на что я ответил пустой коробкой и гвоздями средней величины. Немного погодя еще явилось несколько человек также с подарками; дал каждому по два гвоздя средней величины. Надо заметить, что в этом обмене нельзя видеть продажу и куплю, а обмен подарков: то, чего у кого много, то он дарит, не ожидая непременно вознаграждения. Я уже несколько раз испытывал туземцев в этом отношении, т. е. не давал им ничего в обмен за принесенные ими кокосы, сахарный тростник и пр. Они не требовали ничего за них и уходили, не взяв своих подарков назад.

Я сделал еще другое замечание: моя хижина и я сам производят на туземцев какое-то особенное чувство: им у меня не сидится, они осматриваются, точно каждую минуту ожидают появления чего-то особенного, весьма немногие смотрят мне в глаза, а отворачиваются или нагибаются, когда я взгляну на них. Некоторые из них смотрят на мою хижину, на вещи в ней как-то завистливо (хотя я не могу описать точного выражения таких лиц, но почему-то мне положительно кажется, что в их лице, вероятно (Вероятно *зачеркнуто, не ясно кем*), выражается зависть). Раза два или три приходили ко мне люди, смотревшие на меня очень злобным, враждебным взглядом. Брови у них были сильно нахмурены и верхняя губа как-то поднята вверх; каждую минуту я ожидал, что она поднимется выше и что я увижу их сжатые зубы.

Следы «Витязя» видны кругом моего мыса; по лесу трудно пройти, везде срубленные деревья, сучья, висящие на спутанных лианах, заграждают путь. Старые тропинки завалены во многих местах. Понятно, все это приводит папуасов в изумление; своими каменными топорами они не нарубили бы в целый год столько деревьев, сколько матросы в несколько дней.

<5 октября>. Всю ночь была слышна у моих соседей в Горенду музыка: дудка и барабан. Дудка состоит из просверленной сверху и сбоку скорлупы кокосового ореха, особенно малой величины; есть также дудки из бамбука. Барабан же представляет большой выдолбленный ствол от 2 до 3 м длины и от 1/2 до 3/4 м ширины; имеет вид корыта, поддерживается двумя брусками; когда ударяют по бокам его большими палками, то удары слышатся на расстоянии нескольких миль. У моих соседей сегодня, вероятно, праздник: приходившие ко мне имели физиономию, окрашенную красною охрою, и имели на спине разные узоры; почти у всех в волосах воткнуты гребни с перьями. Туй прислал с одним из своих сыновей свинины, плодов хлебного дерева, банан и таро, все хорошо сваренное и аккуратно завернуто в больших листьях *Artocarpus incisa*.

6 октября. Приходили и сегодня мои соседи из Горенду с несколькими гостями — жителями островка Били-Били (на русской карте назван островом «Витязь»). Большое число разных украшений (из раковин, зубов собак и клыков свиньи), размалеванные физиономии и спины, взбитые, выкрашенные волосы давали гостям положительно парадный вид. Хотя тип физиономий был не отличен, но различие внешних украшений давало людям из Били-Били такой вид, что их сейчас же можно было отличить от людей Горенду и других ближайших деревень.

Мои соседи из Бонгу (*В рукописи, вероятно, ошибка. Следует: соседи из Горенду*) показывали многие из моих вещей своим знакомым, причем последние каждый раз при виде неизвестного им предмета широко раскрывали глаза, немного разевали рот и клали один из пальцев между зубами (Это вкладывание пальца, иногда и двух, в рот оказалось очень характерным и общим выражением удивления между туземцами).

Когда стало темнеть, я вздумал пройти немного по тропинке. Мне хотелось убедиться, можно ли будет возвращаться ночью из деревень; но вдруг так стемнело, что я поспешил

вернуться домой, и хотя можно было разглядеть общее направление тропинки, но я вернулся домой с разбитым лбом и больным коленом, наткнувшись сперва на сук, а затем на какой-то пенёк. И так, по лесу ночью ходить не придется.

Замечаю, что в бутылке чернил осталось очень мало, и положительно не знаю, найдется ли в багаже другая.

*7 октября.* Отправился утром при отливе за добычей на риф, гуляя по колено в воде, и сверх ожидания набрел на несколько интересных *Calcispongia* (*Анучиным добавлено: (известковых губок)*). Чрез полчаса у меня было более чем на день работы. Вернувшись с рифа, я решил, однако же, оставить микроскоп в покое до завтра и идти знакомиться с моими соседями — в деревню на восток от мыса Обсервации. Отправился туда, сам, разумеется, не зная дороги, а просто выбирая в лесу тропинки, которые, по моим соображениям, должны были привести меня в деревню. Сперва шел по лесу — густому, с громадными деревьями. Шел и наслаждался разнообразием и роскошью тропической растительности, новостью всего окружающего...

Из леса вышел я к морю. Следуя морским берегом, нетрудно было добраться до деревни. Так как я не встретил никого дорогою, то некому было дать знать жителям Гумбу о моем приближении. Свернув с морского берега в хорошо утоптанную тропинку и сделав несколько шагов, я услышал голоса мужчин и женщин. Скоро показались из-за зелени крыши хижин. Пройдя около одной из них, я очутился на первой площадке деревни, где увидел довольно многолюдную и оживленную сцену. Двое мужчин работали над исправлением крыши одной из хижин и казались очень занятыми, несколько молодых девушек и мальчиков плели, сидя на земле, циновки из листьев кокосовой пальмы и подавали их людям, поправлявшим крышу; двое или трое женщин возились с детьми разного возраста; две громадные свиньи с поросятами доедали остатки завтрака. Хотя солнце было уже высоко, но тени на площадке было много и жар вовсе не чувствовался. Разговор был общий и казался очень оживленным. Картина эта по своей новизне имела для меня громадный интерес. Вдруг пронзительный крик — разговор оборвался и наступила страшная суматоха. Женщины и девушки с криками и воплями бросили свои занятия и стали хватать грудных детей, которые, разбуженные внезапно, плакали и ревели; подростки, приведенные в недоумение испугом матерей, завизжали и заголосили; таща детей с собой, женщины, боясь оглянуться, кинулись в лес; за ними последовали девушки и подростки; даже собаки с воем и свиньи с сердитым хрюканьем побежали за ними.

Встревоженные воплями женщин, сбежались мужчины со всей деревни, по большей части вооруженные чем попало, и обступили меня со всех сторон. Я стоял спокойно посреди площадки, удивляясь этой тревоге, недоумеваю, почему мой приход мог произвести такую кутерьму. Я очень желал успокоить туземцев словами, но пока я таковых не знал, и лишь приходилось довольствоваться жестами, что было вовсе не легко. Они стояли вокруг меня нахмурившись и перекидывались словами, которых я не понимал. Устав от утренней прогулки, я отправился к одной из высоких платформ, взобрался на нее, расположился довольно удобно и знаками пригласил туземцев последовать моему примеру. Некоторые поняли, кажется, что я не имею намерения повредить им, заговорили между собою уже спокойнее и даже отложили в сторону оружие, между тем как другие, все еще подозрительно оглядываясь на меня, не выпускали своих копий из рук. Группа туземцев вокруг меня была очень интересна, но мне нетрудно было заметить, что мой приход был им крайне неприятен. Большинство посматривало на меня боязливо, и все как будто томительно ожидали, чтобы я удалился. Я вынул мой альбом, сделал несколько набросков хижин, расположенных вокруг площадки, высоких платформ, подобных той, на которой я



сидел, и перешел затем к записыванию некоторых замечаний самих туземцев (*Следует, очевидно, читать*: замечаний о самих туземцах), оглядывая каждого с ног до головы очень внимательно. Мне стало ясно, что мое поведение начинает смущать туземцев; особенно не нравился им мой внимательный осмотр. Многие, чтобы избавиться от моего пристального взгляда, встали и ушли, что-то ворча. Мне очень хотелось пить. Кругом меня соблазняли кокосовые орехи, но никто не подумал предложить мне даже один из валявшихся на земле свежих кокосов, чтобы утолить жажду. Никто из туземцев не подошел ближе и не постарался заговорить со мною, а все смотрели враждебно и угрюмо.

Понимая, что, оставаясь долее, я не подвину вперед моего дела — знакомства с туземцами, я встал и при общем молчании прошел через площадку, направляясь по тропинке, которая и привела меня к морю.

Возвращаясь домой и обдумывая виденное, я пришел к заключению, что сегодняшняя моя экскурсия доказывает, как нелегко будет одолеть недоверие туземцев и что на это потребуется очень немало терпения и такта (*Вероятно, в рукописи ошибка*: также. *Исправлено Анучиным*) в обращении с ними с моей стороны .

Придя к закату солнца домой, я был встречен моими слугами, которые начинали беспокоиться по случаю моего продолжительного отсутствия; они, между прочим, известили меня, что в мою отлучку двое жителей Горенду принесли три свертка: для меня, для Ульсона и Боя. Я приказал их раскрыть, и в них оказались вареные бананы, плод хлебного дерева и куски какого-то мяса, похожего на свинину. Мясо мне не особенно понравилось, но Ульсон и Бой ели его с удовольствием. Когда они кончили, я очень смутил их замечанием, что это, вероятно, человеческое мясо. Оба очень сконфузились и уверяли, что это была свинина, однако я остался в сомнении.

*8 октября.* Вечером какое-то маленькое насекомое влетело мне в глаз, и хотя мне удалось его вытащить, но глаз очень болел всю ночь и веки распухли, так что о работе с микроскопом нельзя было и думать. По этому случаю утром, при самом начале прилива, я отправился бродить на риф и так увлекся, что не заметил, как вода стала прибывать. Возвращаясь с рифа на берег, мне приходилось несколько раз погружаться в воду выше пояса.

Кончили крышу веранды и возились с уборкою своего гнезда. Помещение мое всего в одну квадратную сажень, а вещей тьма.

*9 октября.* Очищал площадку перед хижинкой от хвороста и сухих листьев. Мое помещение с каждым днем улучшается и начинает мне все более и более нравиться.

Вечером слышу: кто-то стонет. Иду в дом и застаю Боя, который, закутавшись с головой в одеяло, еле-еле мог ответить на мои расспросы. У него оказалась довольно возвышенная температура.

*10 октября.* Часу в четвертом из мыска вдруг показался парус, а затем большая пирога особенной постройки, с крытым помещением наверху, в котором сидели люди, и один только стоял на руле и управлял парусом. Подойдя ближе к моему мыску, рулевой, повернувшись в нашу сторону, начал что-то кричать и махать руками. Такой большой пироги я здесь по соседству еще не видал. Пирога направилась в Горенду, но через пять минут показалась другая, еще больше первой; на ней стоял целый домик или, вернее, большая клеть, в которой помещалось человек 6 или 7 туземцев, защищенных крышею от жарких лучей солнца. На обеих пирогах было по две мачты, из которых одна была

наклонена вперед, другая назад. Я догадался, что мои соседи захотят показать своим гостям такой курьез, как белого человека, и приготовился поэтому к встрече.

Действительно, через четверть часа с двух сторон, из деревень Горенду и Гумбу, показались прибывшие туземцы. С гостями, прибывшими, как я узнал, с островка Били-Били, пришло несколько моих соседей-туземцев, чтобы объяснить своим гостям разные диковинные вещи у хижины белого. Люди из Били-Били с большим удивлением и интересом рассматривали все: кастрюли и чайник в кухне, мое складное кресло на площадке, небольшой столик там же; мои башмаки и полосатые носки возбудили их восторг. Они не переставали открывать рот, приговаривая протяжные «а-а-а...», «е-е-е...». чмокать губами, а в крайних случаях вкладывать палец в рот. Гвозди им также понравились. Я дал им, кроме гвоздей, несколько бус и по красной тряпке, к великой досаде Ульсона. которому не нравилось, что я раздаю вещи даром и что гости пришли без подарков.

У людей из Били-Били часть волос была тщательно выкрашена красною охрой; лоб и нос были раскрашены тою же краской, а у некоторых даже спины были размалеваны. У многих на шее висело ожерелье, которое опускалось на грудь и состояло из двух клыков папуасской свиньи (*Sus papuensis*), связанных таким образом, что, вися на груди, они представляли лежащую цифру 3 с равною верхнею и нижнею частью. Это украшение, называемое жителями Горенду «буль-ра», по-видимому, очень ценится ими. Я предлагал им взамен буль-ра нож, но они не согласились на такой обмен, хотя и очень желали добыть нож. Они были очень довольны моими подарками и ушли в отличном настроении духа. Я был, однако же, удивлен, увидев (*Анучиным вписано: их*) снова чрез полчаса, на этот раз нагруженными кокосами и бананами; они успели сходить к своим пирогам и принести мне свои подарки. Церемония делания подарков имеет здесь свои правила: так, например, каждый приносит свой подарок от других отдельно и передает его прямо в руки лицу, которому хочет дарить. Так случилось и сегодня: каждый передал свой подарок сперва мне, затем Ульсону — значительно менее, а затем Бою — еще меньше. Люди Били-Били долго оставались у хижины и, уходя, когда стало темнеть, знаками указывая на меня и шляпку мою, а затем на свой островок, который виднелся вдали, показывали жестами, что не убьют и не съедят меня и что там много кокосов и банан. Прощаясь, они пожимали мне руку выше локтя. Двое, которым я больше почему-то подарил безделок, обнимали меня левою рукой и, прижимая одну сторону моей груди к своей, повторяли: «О Маклай! О Маклай!». Когда они отошли на несколько шагов, то, полуобернувшись и остановившись, согнули руку в локте и, сжимая кулак, разгибали ее; это был их последний прощальный привет, после которого они быстро скрылись.

*11 октября.* Меня свалил сегодня первый пароксизм лихорадки; как ни крепился, пришлось лечь и весь день пролежать... Было скверно.

*12 октября.* Сегодня наступила очередь Ульсона. Когда я встал, ноги у меня дрожали и подгибались. Бой тоже уверяет, что он нездоров. Моя хижина — настоящий теперь лазарет!... Узнал сегодня от Туя имена разных деревень, виднеющихся с моего мыска. Я удивлялся числу имен: каждый ничтожный мысок и ручеек имеют специальное туземное название; так, например, небольшой мысок, на котором стоит моя хижина, где никогда до меня никто не жил, называется Гарагасси ; мыс Обсервации напротив — Габина и т. п. Деревня, которая была посещена мною вечером в день прихода «Витязя» в Порт Константин, называется, как я уже упоминал несколько раз, Горенду. Затем идет Бонгу, дальше Мале, еще дальше (отличающаяся несколькими светло-желтоватыми кустами *Coleus* и лежащая у самого берега деревня, которую я посетил с офицерами «Витязя») Богатим. Еще далее у мыска, недалеко уже от островка Били-Били, деревня Горима; на

восток от Гарагасси деревня, в которой мне не удалось пристать в первый день, называется Гумбу, затем далее Марагум, еще далее деревня Рай. При расспросах Туя я не мог не подивиться его смышленности, с одной стороны, и некоторой тупости или медленности мышления, с другой. Слушая названия, я, разумеется, записывал их и на той же бумаге сделал набросок всей бухты, намечая относительное положение деревень. Туй это понимал, и я несколько раз проверял произношение названий деревень, прочитывая их громко, причем Туй поправил не только два названия, но даже и самый набросок карты. В то же время мое записывание имен и черчение на бумаге несколько не интересовали его; он как будто и не замечал их. Мне казалось странным, что он не удивлялся. Отпустив Туя, я принялся ухаживать за двумя больными, которые стонали и охали, хотя и сам после вчерашнего пароксизма еле-еле волочу ноги. Пришлось приготовить обед самому. Весь вечер охание обоих больных не прекращалось.

*13 октября.* У меня пароксизм повторился; все больны... скверно, а когда начнется дождливое время года, будет, вероятно, еще сквернее.

*14 октября.* Дав людям по приему хины и сварив к завтраку по две порции риса на человека, я отправился в лес, главным образом, чтобы отделаться от стонов и оханий. Птиц много. Как только туземцы попривыкнут ко мне, буду ходить на охоту, так как консервы для меня противны.

Когда я вернулся, то застал Ульсона все еще охающим на своей койке. Бой же был на ногах и варил бобы к обеду. Приходил Туй с тремя людьми из Гумбу. Привезенный мною табак (американский в табличках) начинает нравиться туземцам. Они употребляют его, смешивая со своим. Курят они таким образом: во-первых, берут полусухой (сушеный на солнце), но еще мягкий лист туземного табаку, расправляют его руками, сушат, держа высоко над огнем, затем разрывают на мелкие кусочки, которые свертывают в виде сигары в также высушенный над огнем специальный (Я постоянно замечаю, что для отыскания подходящего листа туземцы уходят в лес и возвращаются с каким-нибудь листом, но не всегда одинаковым) лист, а затем уже курят, проглатывая дым. Теперь, получая от меня иногда табак, они перед курением обращаются с ним как со своим, т. е. разрывают табачную табличку на малые кусочки, сушат их, а затем еще более размельчают их и примешивают к своему табаку. Одна папироса переходит от одного к другому, причем каждый затягивается дымом один или два раза, проглотит его медленно и передает сигару соседу. Занятие одного из моих гостей заинтересовало меня. Он приготавливал тонкие узкие полоски из ствола какого-то гибкого вьющегося растения. Он сперва выскабливал одну сторону его, отдирав от него тонкую полоску, разрезал ее потом осколком раковины, которые он менял или обламывал, чтобы получить острый край, служивший ему ножом. Эти полоски назначались для плетения браслет «сагю», носимых туземцами на руках выше *biceps'a* и на ногах у колен. Туземец так ловко и быстро работал своим примитивным инструментом, что, казалось, никакой другой не может послужить лучше для этой цели.

Единственным лакомством является здесь для меня кокосовая вода. Кроме нее и чаю, я ничего не пью. Обыкновенно выпиваю два кокосовых ореха в день.

*15 октября.* Из вчерашнего моего разговора с Туем оказывается, что горы вокруг залива Астроляб весьма населены. Он называл множество имен деревень, прибавляя к каждому имени слово «мана», т. е. гора.

После трех дней лечения цвет лица Боя заметно посветлел — побледнел.

*16 октября.* Вчера вечером — сильнейшая гроза. Дождь шел ливнем и пробил мою крышу. На столе моем был настоящий потоп; пришлось убирать бумаги и книги, и ночь я провел в большой сырости. Сегодня в продолжении дня перебивало в моей хижине более 40 человек из разных деревень, что мне порядком надоело; умею я говорить — дело было бы иное; но изучение языка идет вперед все еще туго.

*17 октября.* У Боя, только что оправившегося от лихорадки, явилась новая болезнь — сильная опухоль лимфатических желез в паху, отчего он движется еще медленнее прежнего. Ульсон тоже плох. Еле-еле шевелит языком, словно умирающий, валяется весь день, ночью вздыхает и охает; вечером же при заходе солнца выползает и прохладается с непокрытой головой, разумеется, украдкой от меня, так как я ему запретил выходить куда-либо без шляпы, особенно при свежем береговом ветре.

Последнюю неделю мне часто приходилось стряпать на нас троих.

Я привязан к этим двум субъектам и не могу никуда уйти из дома на несколько дней. Туземцы их несколько не слушаются, между тем как я взглядом заставляю моих соседей останавливаться и повиноваться мне. Замечательно, как они не любят, когда я на них смотрю, а если нахмурюсь и посмотрю пристально — бегут.

*18 октября.* Начали разводить огород, сделали гряды. Работа была нелегкая, так как слой земли очень незначителен и, покопав немного, натыкаешься на коралл. Кроме того, множество корней так перепутаны, что приходится работать топором столько же, сколько и лопатой. Посеяли бобы, семена тыквы из Гаити и кукурузу; не знаю, что взойдет еще, так как семена, кажется, плохи (т. е. лежали слишком долго).

Был несколько часов в лесу, дивясь громадному разнообразию растительных форм, сожалея на каждом шагу, что смыслю так мало в ботанике.

*19 октября.* Погода меняется. Кажется, что скоро начнутся дожди, а моя крыша протекает. Чувствуются последствия лихорадки: усталость во всем теле и нежелание чем-либо заняться.

К ночи собралась гроза. Беспреданно сверкала яркая молния, но грома почти что не было слышно.

*20 октября.* Сегодня визит 13 человек из Ямбомбы, островка близ Били-Били, которые, должно быть, много слышали обо мне от последних (*Анучиным исправлено*: от обитателей последнего). Из моих подарков они оценили всего более гвозди.

Наблюдал долго, как сын Туя, мальчик лет 15, стрелял из лука в рыбу, но очень неуспешно, не попал ни в одну. Стрелы исчезали на секунду в воде, а затем выплывали на поверхность, стоя в воде перпендикулярно. Затем они снова были собраны охотником. Стрелы эти отличаются от обыкновенных тем, что имеют вместо одного острия несколько: четыре, пять, иногда и более; острие сделано из твердого дерева и всажено в длинный тонкий тростник.

Я решил увеличить мое помещение — заменить высокое крыльцо верандою, т. е. переставить трап и закрыть полустеною из кокосовых листьев переднюю часть веранды.

Вздумано — сделано. Отправился в лес с Боем. У каждого из нас было по топору. Мы нарубили разного матерьяла для постройки, и к обеду, т. е. к 4 часам, веранда была готова.

Она имеет 4 фута ширины и 7 длины. Из высокого ящика, поставленного на другой, устроил я род стола. Это будет мое обычное место для работы днем, так как здесь светло и можно будет говорить с туземцами, не двигаясь с места. Кроме того, отсюда прелестный вид на море.

22 октября. Расскажу сегодня, как проводил до сих пор большинство дней.

Вставал я ранее моих слуг, еще в полутемноте, часов в пять; отправлялся кругом дома посмотреть, не случилось ли чего нового за ночь, затем спускался к ручью мыться, причем очень часто забывал взять с собою мыло. Придешь вниз, вспомнишь, что мыло забыл, ну и лень подняться за ним в хижину, особенно когда я нашел прекраснейший суррогат мыла в мелком песке на дне ручья. Захватишь немного этого песку, потрешь им руки, которые делаются немного красными, но зато совершенно чистыми, затем, крепко зажмурясь, вытрешь им лицо. Одно неудобство: много песку остается в бороде. Возвращаюсь к дому около трех четвертей шестого; уже светло. Бой разводит огонь и греет воду для чая. Я отправляюсь на веранду и жду там чай, который мне подают с сухарями или печеными бананами, очень приятными на вкус. Около 7 часов записываю температуру воздуха, воды в ручье и в море, высоту прилива, высоту барометра, направление и силу ветра, количество испарившейся воды в эвапориметре, вынимаю из земли зарытый на один метр глубины термометр и записываю его показание.

Окончив метеорологические наблюдения, отправляюсь или на коралловый риф за морскими животными, или в лес за насекомыми. С добычей сажусь за микроскоп или кладу в спирт собранных насекомых, или же принимаюсь за какую-нибудь другую работу до 11. В 11 завтракаю. Завтрак состоит из отваренного рису с кери. После завтрака ложусь в повешенный на веранде гамак и качаюсь в нем до часа, причем часто засыпаю. В час те же метеорологические наблюдения, как в 9 часов (*Имеется в виду 9 час. вечера: ср. ниже запись о вечерних наблюдениях*). Затем опять принимаюсь за какую-нибудь работу, как, например, приведение в порядок наблюдений, записанных в карманной книжке, режу за чтение. Приход папуасов часто прерывает мои занятия, так как я спешу к ним, не желая опустить случая прибавить несколько слов к моему папуасскому словарю.

После пяти отправляюсь погулять в лес до обеда, который подает мне Бой около 6 часов и который состоит из тарелки отваренных чилийских бобов с небольшим куском «чарки» («Чарки» — чилийское название сушеной говядины, привезенной мною из Вальпараизо) и одной или двух чашек чаю. Тарелка рису утром, тарелка бобов вечером, несколько чашек чаю в день — вот моя ежедневная пища. Привезенные мною несколько банок мясных и рыбных консервов я вполне предоставил моим слугам. Самый вид их мне противен. Время после обеда я посвящаю на разные домашние работы, как то: чистку ружей, уборку своей кельи, а затем, сменив мой костюм, сделанный из бумажной материи, на фланелевый, когда темнеет, сажусь на пень у берега, слежу за приливом и отливом, рассматриваю далекий горизонт, облака и т. д. Иногда ложусь снова в гамак и прислушиваюсь к раздающемуся кругом меня в лесу крику птиц и трескотне десятков разноголосых цикад. В 8 часов иду в комнату и, зажегши свою небольшую лампочку (более похожую на ночник, чем на лампу), записываю происшествия дня в дневник. В 8—9 часов опять метеорологические наблюдения и, наконец, предпоследний акт дня — очищаю кокосовый орех и выпиваю его прохладительную воду. Вернувшись в комнату, осматриваю заряженные ружья и ложусь на жесткую постель, состоящую из двух корзин, покрытых одеялом вместо тюфяка и простынь. Засыпаю обыкновенно очень скоро.

Визиты туземцев и заболевание Ульсона и Боя нарушают немного ход этой с виду однообразной, но в действительности для меня очень интересной жизни.

23 октября. Приходил Туй с двумя другими туземцами. Все были вооружены копьями, луками со стрелами, и у каждого было по топору на плече. Я выразил желание, чтобы гости показали мне употребление лука и стрел, что они сейчас же и исполнили. Стрела пролетела около 65 шагов, но при этом было заметно, что даже легкий ветер имеет большое влияние на полет ее. На таком расстоянии она навряд ли могла бы причинить серьезную рану; шагов на 20 или на 30 — иное дело, и Туй, может быть, прав, показывая, что стрела может пронзить руку насквозь.

Затем Туй показал целый маневр боя: держа лук и стрелы на левом плече, а копьё в правой руке (руке *вписано Анучиным*), он отбежал шагов 10, кидаясь в разные стороны, сопровождая каждое движение коротким, резким криком. Он то натягивал тетиву лука и пускал стрелу, то наступал и копьём как будто старался ранить неприятеля, то прятался за деревьями, иногда нагибался или быстро отпрыгивал в сторону, избегая воображаемую стрелу. Другой туземец, соблазнившись примером, присоединился к нему и стал представлять противника; этот турнир был интересен и довольно характеристичен.

24 октября. Сегодня утром я был удивлен внезапным появлением грибов различных форм, которых я прежде не видел. Они выросли решительно повсюду: на стволах деревьев, на земле, на камнях и даже на перилах моей веранды. Вчера вечером их положительно не было. Очевидно, они выросли за ночь. Чему приписать это появление — не знаю. Думая об этом, мне пришло на ум внезапное и трудно объяснимое появление разных эпидемических болезней, которые также, вероятно, происходят от внезапного развития микроскопических грибков и т. п. организмов. Один из более курьезных грибов, выросший в продолжение нескольких часов и удививший меня своею величиною и формою, я тщательно нарисовал.

Сегодня я обратил внимание еще на то обстоятельство, что в этих странах носовой платок делается почти ненужною вещью. В продолжение месяца у меня в кармане пролежало почти без употребления только два платка. Причина тому — отсутствие или большая редкость катарра носовой полости, который в Северной Европе почти что постоянен.

Лунная ночь сегодня великолепна. В лесу фантастически хорошо. Качаясь в своем гамаке, подвешенном между деревьями, прислушиваясь к ночной музыке и созерцая разнообразие растительных форм, облитых лунным светом... *verlor mich ganz in der Contemplation der prachtvollen geheimnissvoll fantastischen Umgebung...* (...я целиком погрузился в созерцание роскошных таинственно-фантастических окрестностей (нем)) Да простят мне русские патриоты и реалисты эти строки!

25 октября. Лежание в гамаке вечером не прошло мне даром. Ночью чувствовал озноб и проснулся весь в испарине и каким-то расслабленным. Все утро одолевала такая лень, что почти ничего не делал. Лень было даже и читать, так как держать книгу, лежа в гамаке, показалось мне слишком утомительным. После обеда рисовал, но вскоре стемнело, не успел кончить. Снова идет дождь; приходится переносить вещи с одного места на другое. Бой все еще лежит, Ульсон еле-еле двигается.

Удобный у меня характер: живу и смотрю на все окружающее, точно до меня не касается. Иногда, правда, приходится выходить из этого созерцательного состояния, как, например, в настоящую минуту, когда крыша протекает, на голову падают крупные капли холодного дождя и когда все бумаги, рисунки и книги на столе, перед которым я сижу, могут вымокнуть.

*26 октября.* Я и Ульсон работали целый день в лесу, а затем в хижине, стараясь поправить крышу. Бой, все еще страдающий от своей опухоли, охает или, вернее, мычит, как теленок. Этот концерт мне был так невыносим, что выгнал меня из дома. Дав больному небольшой прием морфия, я вышел на площадку. Ночь была великолепная, и долетавшие стоны больного представляли резкий диссонанс с невыразимую прелестью природы.

*27 октября.* Стон Боя продолжался всю ночь, часто будил меня, и благодаря ему я проснулся, когда уже было совсем светло и когда Ульсон принес мой завтрак на веранду, сказав при этом, что Туй уже давно сидит в кухне. Выпив чай, я отправился в кухню (в шалаш) и действительно увидел там папуаса, но совершенно мне незнакомого. Я принялся рассматривать его, но все-таки не мог припомнить, где и когда я его видел. Я предположил, что незнакомец пришел вместе с Туем, а последний уже ушел. Каково же было мое удивление, когда Ульсон спросил меня, неужели я не узнаю Туя.

Я снова взглянул на туземца, который, улыбаясь, показывал на осколки стекла и на свою верхнюю губу. Тут я заметил, что он выбрил усы и часть бороды. Это так изменило лицо моего старого знакомого, что я его сперва вовсе не узнал. Губы и подбородок были отлично выбриты, он так искусно совершил эту операцию, что нигде не было ни царапины. Открытие, что стеклом удобно бриться (на островах Полинезии этот способ очень в ходу), до которого Туй дошел совершенно самостоятельно, сильно возвысит ценность разбитых бутылок, в чем я сейчас же убедился, видя, с каким выражением удовольствия Туй получил в подарок от Ульсона несколько осколков стекла.

Сходство разбитого стекла с отбитыми осколками кремня или кусочками разбитых раковин — инструменты в употреблении у папуасов для резания — легко объясняет открытие Туя, но вместе с тем доказывает наблюдательность и желание туземцев знакомиться опытом с новыми для них предметами. Взойдя на мою веранду, я сделал неприятное открытие: крыша, над которой я трудился часов пять, снова протекает, чего я никак не мог ожидать, накладывая сплетенные кокосовые листья очень часто. Обдумывая причину течи, я пришел к заключению, что виною тому не материалы и не кладка листьев, а слишком малая покатость крыши. Таким образом, объясняется высота крыш хижин на островах Тихого океана. Эта-то высота и крутизна главным образом и делают крыши непромокаемыми.

Чувствуя себя плохо, я принял хины (прием в 1/2 грамма) и хорошо сделал, потому что к часу я чувствовал лихорадку во всех членах и благодаря приему хины предупредил пароксизм.

Ульсон тоже плох; ходит и говорит, как больной. Бой не встает; опять лазарет. Бываю в доме только по вечерам и ночью. Целый день на площадке около дома и нередко на веранде. Приходится зажигать лампу в половине седьмого. Не проходит вечера или ночи без отдаленного грома и очень яркой молнии. Сегодня опять гроза, опять течет на стол, на книги... Везде мокро.

*28 октября.* Приходил опять Туй, опять я его вначале не узнал, так изменилось выражение его лица. Его физиономия, казалось мне, отличалась от других своею симпатичностью; теперь она производит на меня неприятное впечатление. Причина тому — выражение рта. Линия рта вообще имеет значительное влияние на выражение лица, но такого разительного доказательства верности этого замечания я еще не встречал. Усы и борода действительно хорошая маска.

Опять часу во втором вдали показались парусные пироги. Думал, что придут гости, но никто не явился.

Бой стонет ужаснейшим, раздирающим голосом; дал ему небольшой прием морфия, который его скоро успокоил. В 8 часов пошел дождь. В 9 часов, кончив мои метеорологические наблюдения, я уже хотел лечь спать. Вдруг опять слышу стоны. Что такое? У Ульсона опять пароксизм. Очень сожалею, что поселился под одной крышею с другими, это будет в последний раз.

*29 октября.* Несмотря на стоны Ульсона, я заснул, но не успел проспать и получаса, как снова был разбужен странным воем, который, казалось, то приближался, то опять удалялся. Спросонья я не мог дать себе отчета, что это может быть. Вышел на веранду. Дождь перестал, и было не слишком темно. Я оделся, вышел, сошел к ручью, и мне пришла фантазия пойти по тропинке в Горенду и послушать вблизи пение папуасов, так как вышеупомянутый вой не мог быть не чем иным, как пением туземцев. Надо было сказать Ульсону, что я ухожу; ему моя фантазия очень не понравилась. Он уверял меня, что если папуасы вдруг придут, то непременно убьют его и Боя, так как оба они больны и защищаться не могут. В утешение я поставил мое двуствольное ружье около его койки и уверил, что при первом выстреле вернусь немедленно в Гарагасси. Дождь хотя и прошел, но было пасмурно; однако благодаря взошедшей, хотя и скрытой облаками, луне я мог пробираться осторожно по тропинке. Пение слышалось все громче, по мере того как я приближался к Горенду. Очень утомившись от этой прогулки в полутемноте, я сел на пень и стал вслушиваться. Пение, или вой, несшийся мне навстречу, был очень прост, и напев постоянно повторялся. Кроме того, этот примитивный мотив еще подымался и опускался неправильными волнами, то неожиданно совсем обрывался, чтобы начаться через полминуты. От времени до времени слышались удары барума.

Иногда тот же напев, начинаясь медленно, тихо, протяжно, постепенно рос, делался все громче и громче, такт все учащался; наконец пение переходило в какой-то почти что нечеловеческий крик, который, внезапно обрываясь, замирал.

Сидя на пне, я раза два чуть было не свалился. Мне казалось, что я вижу какой-то страшный сон. Очнувшись во второй раз и чувствуя большое желание спать, я переменял намерение: вместо того, чтобы идти вперед, я пошел назад и не помню как добрался до моей хижины, где тотчас же лег, даже не раздеваясь. Несколько раз еще в просонках слышал урывки папуасского концерта.

*30 октября.* Сегодня утром шел в первый раз в это время дня дождь. Не наступает ли дождливое время года? Когда дождь перестал, сидя на пне у моего флагштока, я был свидетелем оригинальной ловли рыбы. Был отлив; мелкая рыба, должно быть преследуемая акулами, которых здесь не мало, металась во все стороны, выпрыгивая иногда из воды. Из-за деревьев у берега вышел Туй и следил за эволюциями рыб. Вдруг рыбы, вероятно жестоко преследуемые неприятелем, кинулись к берегу. В несколько прыжков Туй очутился около них. Вода там была немного ниже колен и дно, разумеется, хорошо видно. Вдруг Туй сделал энергический прыжок, и одна из рыбок оказалась пойманною. Туй ловил их ногою. Он сперва придавил ее ступнею, потом поднял, ухватив между большим и вторым пальцем ноги. Согнув колено, он протянул руку и, высвободив добычу, положил рыбку в мешок. После этого, быстро нагнувшись и схватив камень, Туй бросил его в воду со значительною силою; потом, подойдя к тому месту, куда был брошен камень, он, стоя на одной ноге, поднял другую убитую камнем рыбку. Все было сделано не только очень искусно, но даже и весьма грациозно. Туй, однако же, человек далеко не молодой; мне он кажется лет около 45 или более. Увидев меня на моем мыске, он пришел



в Гарагасси. Я бросил на землю четвертушку бумаги и сказал, чтобы он поднял ее ногой. Я хотел знать, может ли он так плотно прижать большой палец ко второму, чтобы удержать бумагу. Бумага была мигом поднята и, перейдя у него за спиной в руку, была передана мне. Он то же сделал с небольшим камнем, который поднял с земли, не останавливаясь ни секунды.

Каждый день вижу новых бабочек, но мало приходится ловить их — не искусен я, и притом с двух сторон море, а с других двух — лес, свободного места вокруг дома немного. Сегодня видел особенно много больших и красивых бабочек, но словил только одну. Не могу сказать, что совершенно здоров; голова очень тяжела, спина болит и ноги слабы. Ночью Бою было значительно лучше, так как я ему насильно прорезал большой нарыв — это было необходимо. Я приказал Ульсону держать его, и мигом было все сделано. Ночью, проснувшись около 11 часов, слышу опять стоны; у Ульсона — пароксизм. Ходит, качаясь, со стеклянными глазами и осунувшимся лицом.

Состояние Боя начинает меня беспокоить; лихорадка, по-видимому, прошла, но все-таки температура тела гораздо выше нормальной; кашель, который, по его словам, беспокоит его уже несколько лет, кажется, стал сильнее за последние недели вследствие опухоли, которая кончилась нарывом. Вот уже недели две, как он лежит и почти что не ест; это происходит отчасти вследствие поверья, что больному следует очень мало есть.

*31 октября.* Приходило несколько жителей Бонгу со своими гостями из ближайших гор, которые отличаются от береговых папуасов более небрежною прическою и, как мне показалось, немного более светлым цветом кожи.

*1 ноября.* Видел снова нескольких туземцев, живущих в горах. Они носят меньше украшений, чем береговые папуасы.

Вдали показались две парусные пироги, идущие от деревни Богати, направляясь, кажется, сюда.

У папуасов нет обычая здороваться или прощаться между близкими соседями; они делают это только в экстренных случаях. Туй, бывающий в Гарагасси чаще других туземцев, приходит и уходит, не говоря ни слова и не делая никакого жеста.

Я не ошибся: две партии туземцев, человек около 20, приходили ко мне. Так как я желал от них отделаться поскорее, то промолчал почти все время, не переставая наблюдать за моими гостями, расположившимися вокруг моего кресла.

Я не открыл пока у папуасов какой-нибудь любимой позы, они часто меняют свое положение: то сидят на корточках, то, опускаясь на колени, сидят на своих икрах, то, почти не изменяя этого положения, раздвигают ноги так, что их ступни приходятся по обеим сторонам ягодиц; иногда они ложатся, подпирая подбородок рукою, и продолжают, переменяя положение, говорить или есть. Ульсон принес свою гармошку и стал играть; при первых звуках папуасы вскочили все разом и отодвинулись назад. Через несколько времени некоторые из них стали нерешительно подходить. В общем музыка, раздиравшая мне уши (Ульсон играл какую-то матросскую песню), очень понравилась гостям; они выражали свое изумление и одобрение легким свистом и покачиванием из стороны в сторону. Чтобы отделаться от гостей, я роздал каждому по полоске красной материи, которою они повязали себе головы. Вообще молодые люди здесь очень падки до всевозможных украшений. Для полного туалета папуасского денди требуется, вероятно, немало времени.

*2 ноября.* Ночью решил, что отправлюсь один в шлюпке посмотреть на конфигурацию ближайших холмов. Встав еще до света и выпив холодного чаю, так как завтрака ждать мне не хотелось, я отправился на шлюпке сперва к мыску Габина (мыс Обсервации), а затем вдоль берега по направлению к деревне Мале. За береговым лесом поднималось несколько холмов футов в 300 вышины, склоны которых были не везде лесисты и покрыты высокою травой. В нескольких местах в горах, подымавшихся над холмами, вились дымки костров. Вероятно, там расположены деревни.

В это же утро я занялся ловлею морских животных на поверхности, и скоро моя банка наполнилась несколькими небольшими медузами, сифонофорами и множеством ракообразных. Во всяком случае, сегодняшняя экскурсия показала мне богатство здешней морской фауны.

Немало утомившись, голодный, вернулся в Гарагасси к завтраку, после которого провел несколько часов за микроскопом, рассматривая более внимательно мою добычу.

После дневных трудов я лежал вечером спокойно в гамаке на веранде. Хотя не было поздно (всего 6 час. 45 мин), но было уже очень темно. Черные облака приближающейся грозы надвигались все более и более. Я спокойно любовался молнией, внезапно озарявшей облака, как вдруг почувствовал, что мой гамак закачался, затем последовал другой толчок, но на этот раз покачнулся и заходил не только гамак, но вместе с ним и крыша, и стены, и столбы моего дома. Прибежавший из кухни Ульсон стал меня настойчиво спрашивать, будет ли еще землетрясение и будет ли оно сильнее или нет.

Часа через 2 я сидел в хижине и только что принялся осчитывать деления анероида, как снова почувствовал, что земля заколебалась, но сильнее первого раза и продолжительнее. Записав случившееся в метеорологический журнал, я лег спать, прося Ульсона разбудить меня, если почувствует ночью что-нибудь подобное. Я боялся проспять землетрясение, как это уже случилось со мною в Мессине в 1869 г., когда я проспал отлично всю ночь и узнал только на другое утро, что большинство жителей не могло сомкнуть глаз во всю ночь. Действительно, ночью я был разбужен, когда подо мною койка и пол снова зашатались. Все уже успокоилось, когда я услышал голос Ульсона, звавшего меня. Сбиравшаяся всю ночь гроза совсем рассеялась, к утру и при восходе солнца небо было почти совсем безоблачно.

*3 ноября.* Надо было мне вырубить в лесу несколько шестов, и я только что вернулся домой, как Ульсон пришел с известием, что земля все еще не успокоилась. «Как так?» — спросил я. Ульсон очень удивился, что я ничего не заметил, уверяя, что много раз он чувствовал незначительные толчки. «Это колебание не земли, а ваших колен,— сказал я Ульсону,— так как часа через полтора у вас будет опять пароксизм лихорадки». Ответом моим Ульсон остался очень недоволен, заявляя, что он не ошибается. Оказалось действительно, что он был прав, так как в продолжение следующего часа я и сам почувствовал два или три незначительных, хотя и явственных колебания.

Необходимо было укоротить канат якоря моей шлюпки, так как при бывшем ночью сильном прибое ее подрейфовало и киль ее терся о рифы. Пришлось бродить по пояс в воде, так как Ульсон действительно принужден был лечь по случаю лихорадки. Барометр, который весь месяц не подымался выше 410 делений, оба эти дня стоял очень высоко и поднялся сегодня до 464.

После обеда пришел Туй. Он выбрил себе еще часть бороды и брови. Я долго и внимательно рассматривал его волосную систему. Тело мало покрыто волосами; на руках

их вовсе не заметно на груди и спине также немного, но положительно нигде нет и признака распределения волос пучками (*В рукописи знак сноски к этому месту и внизу страницы оставлена чистая строка*).

*4 ноября.* Вот скоро 6 недель, как я познакомился с папуасами, а они не видали еще у меня никакого оружия. Дома оно у меня, разумеется, есть, но даже уходя в лес, я редко беру с собою револьвер; отправляясь же в туземные деревни, не беру его положительно никогда. Эта обезоруженность кажется туземцам весьма странною. Они уже не раз старались разузнать, не имею ли я в доме копья, лука или стрелы. Предлагали даже взять у них, но я отвечал на это только смехом и с очень презрительным жестом отодвинул от себя их оружие, показав, что я в нем не нуждаюсь. Их было человек 20 и все вооружены. Мой поступок их очень озадачил; они поглядели на свое оружие, на дом, на меня и долго толковали между собою. Я их оставляю в неведении, пока это возможно.

*5 ноября.* Комары и муравьи не давали мне покоя. Спал скверно. Около двух часов утра опять дом заходил и закачался.

Землетрясение длилось не более полуминуты, но оно было сильнее, чем два дня тому назад. Под влиянием этих колебаний земли является какое-то любопытство; спрашиваешь себя: «Что дальше будет?». Долго не мог заснуть, ожидая продолжения. Барометр поднимается выше и выше. Ночью во время землетрясения поднялся до 515 — не знаю, чему приписать это. Утром был дождь, но затем прояснилось.

*6 ноября.* Ночью была сильнейшая гроза; трудно, не быв на месте, представить себе те раскаты грома и почти непрерывную молнию, которые в продолжении трех или четырех часов оглушали и ослепляли нас. Дождь падал (падал *переделано из* капал *другим почерком и другими чернилами*) не каплями, а лил тонкими струйками. После такой ночи утро было свежее, воздух прозрачный. День простоял великолепный, и я без особенных поисков наловил порядочно насекомых, которые после дождя повыползли просушиться. Удалось мне также поймать длиннохвостую ящерицу с предлиннейшими задними ногами.

*7 ноября.* Ульсона сегодня опять схватила лихорадка, сопровождаемая рвотою и бредом. Успел сделать портрет одного из пришедших туземцев. Трудно заниматься, когда оба слуги больны: приходится самому готовить кушанье, быть медиком и сиделкою, принимать непрощенных любопытных, подчас назойливых гостей, а главное — сознавать, что связан и должен сидеть дома...

В такие дни, даже и в том случае, когда чувствую себя крайне нехорошо, я принужден оставаться на ногах.

*8 ноября.* Снова разразилась гроза; в хижине было повсюду мокро и сыро. Вставал ночью давать лекарство больным, которые стонали и охали весь вечер и всю ночь. Около 12 часов почувствовал легкое землетрясение, не толчками, а род дрожания земли. Чувствовалось, что горы, весь лес, дом и рифы дрожат под влиянием могучей силы. Все еще сильная гроза с непрерывною молниею и сильными раскатами грома, потоки дождя и порывы ветра дополняли картину.

*9 ноября.* Утро было сырое и свежее (всего 22° С). Тепло одетый, я пил чай на веранде, когда увидел перед собою Туя, который, также чувствуя свежесть утра и не имея подходящего к температуре костюма, принес с собою примитивную, но довольно удобопереносимую печь — именно толстое тлеющее полено. Подойдя ближе, он сел у веранды. Курьезно было смотреть, как он, желая согреться, переносил тлеющее полено от

одной стороны тела к другой и то держал его у груди, то клал сперва у одного, а затем у другого бока, то помещал его между ногами, смотря по тому, какая часть тела казалась ему более озябшею. Скоро пришло еще несколько жителей Бонгу; среди них находился человек низкого роста с диким и робким выражением лица. Так как он не решался подойти ко мне, то я сам пошел к нему. Он хотел было бежать, но был остановлен другими. Посмотрев на меня, он долго смеялся, затем стал прыгать, стоя на месте. Очевидно, вид первого белого человека привел его в такое странное состояние. Люди из Бонгу постарались объяснить мне, что этот человек пришел из очень далекой деревни, лежащей в горах и называемой Марагум. Он явился с целью посмотреть на меня и на мой дом.

Все пришедшие имели на себе по случаю холодного утра свои «согреватели»; у некоторых вместо полен был аккуратно связанный пук тростника. Присев перед моим креслом, они сложили свои головни и тростник в виде костра и принялись греться около огня. Я уже не раз замечал, что туземцы носят с собою головни с целью иметь возможность во время перехода из одного места в другое зажигать свои сигары. Немного позже другая партия туземцев явилась из Гумбу, также со своими гостями из Марагум-Мана (*В рукописи знак сноски и внизу страницы оставлено место для примечания*), которые заинтересовали меня как жители гор. Тип их положительно был одинаков с приморскими жителями, но цвет кожи был гораздо светлее, чем у моих соседей. Он не казался темнее цвета кожи многих жителей Самоа, что мне сразу бросилось в глаза. Особенно у одного из пришедших кожа на лице была гораздо светлее, чем на теле. Жители Марагум-Мана были приземисты, но хорошо сложены: ноги крепкие, с развитыми икрами. Я им сделал несколько подарков, и они ушли, весьма довольные, не переставая удивляться дому, креслу и моему платью.

У Ульсона опять лихорадка, скверная тем, что пароксизмы наступают совершенно неправильно. В 5 часов опять гроза, дождь, сырость, так что я принужден сидеть дома и кутаться. Дождливые дни для меня очень неприятны. Так как моя келья очень мала, то она служит мне и спальней, и складочным местом. Когда дождя нет, я провожу целые дни вне ее; разные углы площадки вокруг дома составляют собственно мой дом: здесь моя приемная с несколькими бревнами и пнями, на которых могут располагаться мои гости; там в тени, с далеким видом на море, мой кабинет с покойным креслом и со складным столом; было также специальное место, предназначенное мною для столовой. Вообще я был очень доволен моим помещением.

*10 ноября.* Нахожу, что туземцы здесь народ практичный, предпочитающий вещи полезные разным безделкам. Ножи, топоры, гвозди, бутылки и т. п. они ценят гораздо более, чем бусы, зеркала и тряпки, которые они хотя и берут с удовольствием, но никогда не выпрашивают их, в противоположность вещам, упомянутым раньше.

Недоверчивость моих соседей доходит до смешного. Они рассматривали мой нож с большим интересом. Я показал им два больших ножа, фута в полтора длиною, и, шутя и смеясь, объяснил им, что дам эти два больших ножа, если они оставят жить у меня в Гарагасси маленького папуасенка, который пришел с ними. Они переглянулись с встревоженным видом, быстро переговорили между собою и затем сказали что-то мальчику, после чего тот бегом бросился в лес. Туземцев было более десятка и все вооруженные. Они, кажется, очень боялись, что я захвачу ребенка. И это были люди, которые уже раз 20 или более посещали меня в Гарагасси.

Другой пример: приходят ко мне человека три или четыре, невооруженные. Я уже знаю наперед, что недалеко в кустах они оставили человека или двух с оружием, чтобы

подоспеть к ним на помощь в случае нужды. Обыкновенно туземцы стараются скрыть, что они приходят вооруженными.

О женщинах и говорить нечего. Я не видал еще ни одной вблизи, а только издали, в то время, когда они убегали от меня, как от дикого зверя. Самцы у папуасов очень берегут своих самок. Эта черта, встречающаяся у большинства диких рас, объясняется тем, что они не знают никаких удовольствий, кроме половых.

Это отношение к женщинам отличает их от полинезийцев, которые нередко предлагают самым бессовестным образом женщин всем желающим.

*11 ноября.* Сегодня опять пришла моя очередь болеть. Хотя пароксизм был утром, но он на весь день лишил меня возможности чем-либо заняться. Ульсона я снова поставил на ноги с помощью хины. Бой все еще болеет. Я ему регулярно даю хину и уговариваю, чтобы он ел, но он питается почти исключительно бананами и сахарным тростником. Тайком от меня, как я узнал от Ульсона, он выпивает большое количество воды, хотя я ему каждый день повторяю, чтобы он не пил ничего другого, кроме горячего или холодного чая.

По вечерам Ульсон надоедает мне постоянными рассказами о своей прошлой жизни. У некоторых людей положительная потребность говорить! Без болтовни им жить невозможно. А для меня именно с такими людьми и трудно жить. Сегодня поутру мне удалось сделать довольно удачный портрет Туя .

*12 ноября.* По ночам гораздо шумнее, чем днем. С полудня до трех или четырех часов, исключая кузнечиков и весьма немногих птиц, никого не слышно; с заходом же солнца начинается самый разноголосый концерт: кричат лягушки, цикады, ночные птицы, к ним примешиваются также голоса разных животных, которых мне еще не удавалось видеть. Почти каждый вечер аккомпанементом к этому концерту являются раскаты грома, который днем раздается редко. Ночью и прибой на рифах слышится яснее; ко всему этому присоединяется еще назойливый писк комаров, а подчас издали долетает завывание папуасов, заменяющее у них песни. Несмотря на всю эту музыку, мне вообще спится хорошо.

Сегодня целый день чувствую утомление во всем теле после вчерашнего пароксизма.

*13 ноября.* У здешних туземцев существует только одно обозначение для выражения понятий «писать» и «рисовать», что очень понятно, так как до изобретения письмен они еще не дошли. Когда я записываю что-нибудь, они говорят: «Маклай негрэнгва». Если я рисовал кого-нибудь из них, они также говорили: «Негрэнгва». Показываю им печатную бумагу — снова «негрэнгва». Объясняя друг другу пользу маленького гвоздя при черчении узора на бамбуковом футляре для извести, они опять употребляли слово «негрэнгва».

Опять приходили ко мне жители Бонгу со своими гостями из гор (горцами). Я старался узнать, как они добывают огонь, но не мог добиться, не зная еще достаточно языка.

Туземцы очень приставали, чтобы я пожевал с ними бетель, на что я, однако не, не согласился, вспомнив, что раз попробовал, но обжег себе язык негашеною известью, которой я примешал слишком много.

*15 ноября.* Во время прилива (около 4 часов) я и Ульсон принялись за нелегкую работу: втащить на берег четверку, чтобы просушить ее и выкрасить. Шлюпка оказалась очень тяжелой для двух человек, но несмотря на это, мы ее одолели, причем нам очень помогли железный лом и система блоков, полученные мною от П. П. Новосильского. После более чем часовой работы мы наконец втащили шлюпку на берег до такого места, куда вода никогда не доходит даже при самом (*Анучиным добавлено: высоком*) приливе. Устали порядком.

*16 ноября.* После утреннего чая опять принялись за работу: надо было установить шлюпку для очистки и окраски. Тяжелая работа эта продолжалась, однако, не более часа. Пришлось напрячь все усилия, чтобы достигнуть удовлетворительного результата. В другом месте, где можно было бы легко найти помощь, мы оба объявили бы нашу вчерашнюю и сегодняшнюю работу невозможной и прибегли бы к чужой помощи. Здесь же, где не на кого надеяться, сам принимаешься за все и пробуешь таким образом свои силы. Это полное напряжение способностей и сил во всех отношениях возможно при нашей цивилизации только в исключительном положении и то редко, и чем далее, тем реже оно будет встречаться. Усовершенствования при нашей цивилизации клонятся все более и более к развитию только некоторых наших способностей, к развитию одностороннему, к односторонней дифференцировке. Я этим не возвожу на пьедестал дикого человека, для которого развитие мускулатуры необходимо; не проповедую возврата на первые ступени человеческого развития, но вместе с тем я убедился опытом, что для каждого человека его физическое развитие во всех отношениях должно было бы идти более параллельно, а не совершенно отстраняться преобладанием развития умственного.

*17 ноября.* Нового ничего нет. Все по-старому. Утром я зоолог-естествоиспытатель, затем, если люди больны, повар, врач, аптекарь, маляр, портной и даже прачка, etc., etc., etc. Одним словом, на все руки, и всем рукам дела много. Хотя очень терпеливо учусь туземному языку, но все еще понимаю очень мало; более догадываюсь, что туземцы хотят сказать, а говорю еще меньше.

Папуасы соседних деревень начинают, кажется, меньше чуждаться меня... Дело идет на лад; моя политика терпения и ненавязчивости оказалась совсем верною: не я к ним хожу, а они ко мне; не я их прошу о чем-нибудь, а они меня и даже начинают ухаживать за мною. Они делаются все более и более ручными: приходят, сидят долго, а не стараются, как прежде, выпросить что-нибудь и затем улизнуть поскорее со своею добычей.

Однако досадно, что я еще так мало знаю их язык. Знание языка, я убежден, единственное средство для удаления этого недоверия, которое все еще держится, а также единственный путь к ознакомлению с туземными обычаями, по всей вероятности, очень интересными. Учиться языку мне удобнее дома, чем посещая деревни, где туземцы при моих посещениях бывают обыкновенно так возбуждены и беспокойны, что трудно заставить их усидеть на месте. В Гарагасси малейшие признаки нахальства у них пропадают; они терпеливо отвечают на вопросы, позволяют рассматривать, мерить и рисовать себя. К тому же в Гарагасси у меня все под рукою: и инструменты для антропологических измерений, и аппараты для рисования.

Не лишним является также и большой выбор подарков для вознаграждения их терпения или для обмена на какие-нибудь безделки, украшения или вообще различные мелочи, которые папуасы носят с собою всюду под мышкою в особых мешках. Я не упускаю случая при посещении горных жителей измерять их головы, делать разные антропологические наблюдения и, между прочим, собирать образчики для моей

коллекции волос. Как известно, изучение качества волос представителей разных рас имеет большое значение в антропологии, почему я никогда не пренебрегаю случаями пополнять мою коллекцию новыми образчиками.

Здесь это соби́рание представляло сперва некоторую трудность. Уморительно было смотреть, с каким страхом отскочил Туй при виде ножниц, которые я поднес к его волосам. Он готов был бежать и не подходил ко мне все время, пока я держал ножницы. Отказаться от соби́рания волос в этой местности я не мог, но как победить нежелание Туя, который между всеми моими новыми знакомыми становился самым ручным? Если уж он не соглашается на это, то что же будут делать другие, более дикие? Я подумал, не примет ли он в обмен на свои волосы несколько моих, и, отрезав пучок своих волос, предложил ему взять их, конечно, на обмен. Это удалось, я выбрал несколько локонов, отрезал их и отдал ему свои.

Пока я завертывал образчик волос в бумагу и надписывал пол, приблизительно лета и место головы, откуда были срезаны, Туй также завернул тщательно мои волосы в лист, который он сорвал недалеко. Таким образом, т. е. способом обмена на собственные волосы, моя коллекция волос туземцев значительно увеличилась<sup>51</sup>. Но в один прекрасный день Ульсон заметил мне, что я выстриг себе всю левую сторону головы. Это произошло оттого, что держа ножницы в правой руке, мне было легче срезать волосы на левой стороне головы. Тогда я стал резать с другой стороны.

Раз, гуляя по лесу, я забрел так далеко, что чуть-чуть не заблудился; но, к счастью, наконец, набрел на тропу, которая привела меня к морю, где я сейчас же мог ориентироваться. Это случилось около деревни Мале, куда я, однако ж, не пошел (*Листы 78—79 в рукописи отсутствуют. Текст воспроизводится по изданию 1923 г. (с. 142-143)*), а направился в Бонгу, по дороге домой. Но дойти до Бонгу мне не удалось; было уже почти темно, когда я добрался до Горенду, где я решил переночевать, к великому удивлению туземцев. Придя в деревню на площадку, я прямо направился в большую буамрамру (Буамрамрами называются большие хижины, особым образом построенные и исключительно назначенные для мужчин) Туя, желая как можно менее стеснять туземцев и зная очень хорошо, что мое посещение встревожит всех жителей деревни. Действительно, слышались возгласы женщин и плач детей.

Пришедшему Тую я объяснил, что хочу спать у него. Он что-то отвечал мне много, кажется, хотел проводить меня при свете факела в Гарагасси, говорил что-то о женщинах и детях. Я почти что не понял его и, чтоб отделаться, лег на барлу — род длинных нар с большими бамбуками вместо подушек — и, закрыв глаза, повторял: «Няварь, няварь» (спать, спать). У меня часов не было, и хотя было не поздно, но, утомленный моей многочасовой прогулкой, я вскоре задремал и затем заснул. Проснувшись я, вероятно, от холода, так как я спал ничем не покрытый, а ночной ветер продувал насквозь ввиду отсутствия у этих хижин стен спереди и сзади.

Не ев ничего с 11 часов утра, я чувствовал также большой аппетит. Я был один в буамрамре, где царил полумрак. Встав, я направился на площадку, к костру, вокруг которого сидело несколько человек туземцев. Между ними был и Туй. Я обратился к нему, указывая на рот и повторяя слово «уяр» (есть), которое он сейчас же понял и принес мне небольшой табир (овальное неглубокое блюдо) с холодным таро и вареными бананами. Несмотря на недостаток соли, я съел несколько кусков таро с удовольствием; бананы я также попробовал, но они показались мне очень безвкусными. Я чувствовал себя настолько освеженным получасовою дремотою и затем подкрепленным пищею, что предложил двум молодым туземцам проводить меня с факелами до Гарагасси.

В ночной темноте попасть домой без огня было совершенно невозможно. Туземцы поняли мое желание и были, кажется, даже довольны, что я не остаюсь ночевать. Мигом добыли они несколько факелов из сухих пальмовых листьев, которые связываются для этой цели особым образом, взяли каждый по копью, и мы отправились. Лес, освещенный ярким светом горящих сухих листьев, представлялся еще красивее и фантастичнее, чем днем. Я любовался также моими спутниками, их быстрыми и ловкими движениями; они держали факел над головой, а копьем отстраняли нависшие (*Отсюда текст снова печатается по рукописи*) ветви лиан, местами преграждавшие нам путь. Один из туземцев шел за мной; оглянувшись на него, я невольно подумал, как бы легко ему было сзади проткнуть меня копьем. Я был невооружен, по обыкновению, и туземцам это обстоятельство было хорошо известно. Я дошел, однако ж, цел и невредим до Гарагасси, где и был встречен крайне встревоженным Ульсоном, почти уже потерявшим надежду видеть меня в живых.

22 (*В рукописи было ошибочно 20*) ноября. На днях я убил голубя [...] (*Анучиным вписано: (Carrofağa)*) у самой хижины, и так как подобного экземпляра я еще никогда не видел, то и отпрепарировал аккуратно скелет и повесил его сушиться на дерево довольно высоко. Не прошло и двух часов, как мой скелет среди белого дня пропал с дерева в трех шагах от дома. Сидя на веранде и чем-то занимаясь, я видел мельком быстро скрывающуюся в кустах собаку, но не думал, что она уносит скелет, над которым я работал около часа. Сегодня утром удалось убить другого голубя, но он упал в море. Не чувствуя охоты купаться и не желая тревожить Ульсона, который занимался приготовлением чая, я стал ждать, чтобы наступающий прилив прибил мою добычу к берегу. Сидя за чаем на веранде, я следил за медленным двшкением убитой птицы, которую волны подвигали к берегу. Однако это продолжалось недолго: мелькнул один плавник, затем другой, и тело птицы вдруг скрылось в воде, оставив после себя только несколько водяных кругов. В некотором расстоянии появилось на секунду несколько плавников акул, которые, вероятно, сражались из-за добычи.

Вчера вечером Туй хотел выказать мне свое доверие и попросил позволения ночевать у меня. Я согласился. Уходя, он сказал, что придет позднее. Предполагая, что он не вернется, я уже лег на койку, когда услышал голос его, зовущий меня. Я вышел — действительно, это был Туй. Вид его при лунном свете был очень характеричен и даже эффектен: темное, но хорошо сложенное тело красиво рисовалось на еще более темном фоне зелени. Он одною рукою опирался на копьё, в другой, опущенной, держал догорающее полено, которое освещало его с одной стороны красноватым отблеском. Плащ или накидка его из грубой тапы опускалась с плеч до земли. Стоя таким образом, он спрашивал, где ему лечь. Я ему указал на веранду, где он может провести ночь, и дал ему циновку и одеяло, которыми он остался очень доволен. Туй улегся. Это было часов около десяти. В половине 12-го я встал, чтобы посмотреть на термометр. Луна еще ярко светила. Я взглянул на веранду, но Туя там не было, а на его месте лежали только свернутая циновка и одеяло. Видно, голые нары его хижины ему более по вкусу, чем моя веранда с циновкою и одеялом.

23 ноября. Пристрелил одну из птичек [...] (*Анучиным вписано: (Chlamydodera sp)*) которые так кричат на высоких деревьях около дома. Туземное имя ее «коко». Это имя — не что иное, как звукоподражание ее крику: «коко-пиу-кай»; при этом, когда она кричит, звук «коко» выделяется очень ясно.

Сегодня я сделал неожиданное, но весьма неприятное открытие: все собранные мною бабочки съедены муравьями; в коробке остались только кусочки крыльев некоторых из них.



У Ульсона лихорадка снова, мне опять пришлось колоть дрова, варить бобы и кипятить воду для чая. Вечер иногда провожу над приготовлением серег, которые режу для туземцев из жестяных ящичков из-под консервов. Я подражаю форме черепаховых серег, носимых туземцами. Первую пару сделал я ради шутки и подарил Тую, после чего множество туземцев перебивало у меня, прося сделать им такие же. Серьги из жести положительно вошли в моду, и спрос на них растет.

*24 ноября.* Застрелил белого какаду, который упал с дерева в море. Я только что перед этим встал и собирался идти к ручью мыться, поэтому я тотчас же разделся и сошел в воду, чтобы достать птицу и выкупаться. Отливом она была отнесена от берега, но я направился к ней, несмотря на глубину, и был уже сажень в двух, как вдруг большая акула схватила птицу. Близость таких соседей не особенно приятна, когда купаешься.

У Ульсона снова лихорадка и даже более сильная, чем в прошлый раз. Глаза, губы и язык сильно опухли, и я снова принужден исполнять все домашние обязанности.

*25 ноября.* Несмотря на значительный прием хины (1-5 гран), у Ульсона опять пароксизм с бредом и с сильною опухолью не только лица, но и рук. Опять приходится рубить дрова, стряпать кушанье, уговаривать и удерживать Ульсона, который вдруг вскакивает, хочет купаться и т. д. Особенно надоедает мне эта стряпня. Если бы приходилось делать это каждый день, то я отправлялся бы в деревню и предоставлял туземцам варить таро и ямс за меня.

Дни проходят, а мое изучение туземного языка подвигается очень туго вперед. Самые употребительные слова остаются неизвестными, и я не могу придумать, как бы узнать их. Я даже не знаю, как по-папуасски такие слова: да, нет, дурно, хочу, холодно, отец, мать... Просто смешно, а что я не могу добиться и узнать их — это остается фактом. Начнешь спрашивать, объяснять — не понимают или не хотят понять. Все, на что нельзя указать пальцем, остается мне неизвестным, если только не случайно узнаешь то или другое слово. Между другими словами, узванными от Туя, который пришел отдохнуть в Гарагасси, возвращаясь откуда-то, я узнал совершенно случайно название звезды — «нири». Оригинально то, что папуасы называют (но не всегда) солнце не просто «синг», а «синг-нири», луну — «каарам-нири». т. е. звезда-солнце, звезда-луна.

*27 ноября.* Ульсон объявил мне утром, что, вероятно, более не встанет; он едва мог приоткрывать глаза (веки так опухли) и шевелить языком, который, по его словам, был вдвое толще против обыкновенного. На его опасения смерти я возразил, что стыдно ему трусить и что, вероятно, он встанет завтра поутру, после чего я его заставил проглотить раствор около грамма хины в (в *надписано Ануциным*) подкисленной жидкости, которую он запил несколькими глотками крепкого чая. Дозу эту я снова повторил часа через четыре после первой; хотя он сильно ворчал, глотая невкусное лекарство, пароксизма сегодня не было, и к вечеру он встал, немного глухой, но с сильнейшим аппетитом. Зато у меня был ночью пароксизм, трясло очень сильно, зубы шелкали, и я не мог согреться. Когда явилась испарина, я заснул часа на два. Утром встал, еле-еле волоча ноги, но все-таки встал и даже отправился в лес, так как сухих дров в кухне почти не осталось. Когда я пробирался чрез чащу, в одном месте на меня напали осы. Я бросился бежать, оставивши дрова и даже топор. Боль от укушения была очень сильная. Прибежав домой, я сейчас же помочил ужаленные места на руках, груди и лице нашатырным спиртом, отчего боль моментально исчезла.

Сегодня полнолуние, и двое молодых людей из Горенду, Асол и Вуанвум, сейчас (около 9 часов вечера) заходили сюда, раскрашенные красною и белою краскою, убранные зеленью

и цветами, по дороге в Гумбу, где они проведут ночь. У туземцев, как я заметил, с полнолунием сопряжены особенные собрания; они делают друг другу визиты, т. е. жители одной деревни посещают жителей другой, ходят всегда более разукрашенными, и песни их долетают обыкновенно в такие ночи (т. е. во время полнолуния) в форме пронзительного и протяжного воя до Гарагасси.

Так случилось и в прошлую ночь. Я был разбужен Ульсоном, спрашивающим, слышал ли я крики и заряжены ли все у меня ружья? Я не успел ответить, как из леса по направлению к Горенду послышался громкий пронзительный крик, в котором, однако ж, можно было признать человеческий голос. Крик был очень странный и принадлежал, вероятно, многим голосам. Ульсон сказал мне, что последние пять минут он слышал уже несколько подобных звуков. Первый из них был так громок и пронзителен и показался ему до того страшным, что он решился разбудить меня, полагая, что это может быть сигнал нападения на нас. Я встал и вышел на площадку; из многих деревень неслись однообразные удары барума. Полная луна только что показывалась величественно из-за деревьев, и я сейчас же подумал, что слышанные крики произведены были в честь восхода луны, припомнив, что при появлении луны туземцы вскрикивали каким-то особенным образом, как бы приветствуя восход ее. Это объяснение мне показалось совсем удовлетворительным, и, посоветовав Ульсону не ожидать нападения на нас, а просто спать, сам заснул немедленно.

*29 ноября.* Спустили опять на воду вычищенную и выкрашенную шляпку. Я очень устал, главная работа выпала в этот раз на меня, так как Ульсон по слабости после лихорадки мало мог делать.

*30 ноября.* Солнце становится у нас редкостью, проглядывая ненадолго из-за туч.

Большое удобство моего помещения в этом уединенном месте заключается в том, что можно оставлять все около дома и быть уверенным, что ничего не пропадет, за исключением съестного, так как за собаками усмотреть трудно.

Туземцы пока еще ничего не трогали. В цивилизованном крае такое удобство немислимо; там замки и полиция часто оказываются недостаточными.

*3 декабря.* Ходил в деревню Горенду за кокосами. По обыкновению предупредил о моем приближении громким свистом, чтобы дать женщинам время попрятаться. На меня эта деревня всегда производит приятное впечатление, так как в ней все чисто, зелено, уютно. Людей немного; они не кричат и не производят разных шумных демонстраций при моем появлении, как прежде, только птицы, летая с дерева на дерево или быстро пролетая между ними, нарушают благотворный покой. На высоких барлах важно восседают на корточках двое или трое туземцев, редко перекидываясь словами и молча разжевывая кокосовый орех или очищая горячий «дегарголь» (сладкий картофель) ; иные заняты в своих хижинах, другие около них, многие, ничего не делая, греются на солнце или расщипывают свои волосы .

Придя в Горенду, я также сел на барлу и также занялся свежеспеченным дегарголем. Человек 8 собралось скоро около барлы, на которой я сидел, и поочередно стали высказывать свои желания: одному хотелось иметь большой гвоздь, другому — кусок красной тряпки; у этого болела нога, и он просил пластыря и башмак. Я слушал молча; когда они кончили, я сказал, что хочу несколько зеленых кокосов. Двое мальчиков, накинув петлю себе на ноги, быстро поднялись на кокосовую пальму и стали бросать кокосы вниз. Я пальцами показал, сколько кокосов хочу взять, и предложил отнести их в

«галь-Маклай», или дом Маклая, что и было исполнено. Довольные моими подарками, они убрались все чрез полчаса. С двоих я успел снять довольно удачный портрет.

Вечером опять дождь, гром и молния. Ветер много раз задувал лампу. Иногда поневоле приходится ложиться спать, так как писание дневника и приведение в порядок заметок постоянно прерываются необходимостью зажечь постоянно потухающую от ветра лампу. Скважин, щелей и отверстий всякого рода в моем помещении так много, что защититься от сквозняка нечего и думать. Теперь с 8 или 9 часов вечера дождь, который начался при заходе солнца, будет идти, вероятно, часов до 3 или 4 утра.

В октябре было еще сносно, но в ноябре дождь шел чаще. В декабре он имеет, кажется, намерение идти каждый день. Дождь барабанит по крыше, протекает во многих местах, даже на стол и на кровать, но так как поверх одеяла я закрыт еще непромокаемым, то по ночам мне до дождя нет дела. Я убежден, что мне было бы комфортабельнее, если бы я жил совершенно один, не имея слуг, за которыми до сих пор я ухаживал более, чем они за мною. Про Боя уж и говорить нечего; он лежит, не вставая, второй месяц, но и Ульсон болеет втрое чаще меня; правда, что последний, чувствуя самое легкое нездоровье, готов валяться весь день. Так, например, сегодня он пролежал весь день, почему вечером я должен был готовить чай для нас троих, не позволив ему выйти по случаю дождя.

Делать чай в Гарагасси в темные дождливые ночи, как сегодня, не так просто. Пришлось при сильном дожде пройти в шалаш, набрать там по возможности сухих ветвей, наколоть их, зажечь потухнувший от дождя костер, долго раздувать его, потом, так как не оказалось достаточно воды в чайнике, надо было в темноте и под дождем спуститься к ручью. При этом было так темно, что, зная наизусть дорогу, я чуть было два раза не упал, сбившись с дороги; приходилось ожидать молнию, при помощи которой я снова попадал на знакомую тропу. При этом дожде и порывах ветра брать фонарь с собою было бы бесполезно. Когда я вернулся промокшим до костей, мое крохотное помещение показалось мне очень удобным; я поспешил переодеться и пишу эти строки, наслаждаясь чаем, который именно сегодня кажется мне очень вкусным.

Надо заметить, что вот уже второй месяц, как у нас нет сахара, и недель пять, как были выброшены последние сухари, которые изъели за нас черви. Мы долго боролись с ними, старались высушить их сперва на солнце, а потом на огне, они все-таки одолели и остались живы. Я заменяю сухари печеными бананами или, когда нет бананов, ломтиками печеного таро. Я действительно несколько не чувствую этой перемены, хотя Ульсон и даже Бой ворчали, когда сахар кончился. Остальная наша пища та же, что и прежде: вареный рис с кёри и бобы с солью. Но довольно о пище. Она несложна, и ее однообразность даже нравится мне; кроме того, все неудобства и мелочи эти вполне сглаживаются кое-какими научными наблюдениями и природою, которая так хороша здесь... Да, впрочем, она хороша везде, умей ею только наслаждаться.

Вот пример. Полчаса тому назад, когда мне пришлось отправиться к ручью за водой, я был в самом мерзком настроении духа, утомленный десятиминутным раздуванием костра, дым которого разъедал мне до слез глаза. Когда огонь был сделан, оказалось, что воды не было достаточно в чайнике. Отправляюсь к ручью. Совершенно темно, мокро, ноги скользят, то и дело оступаешься: дождь, уже проникший через две фланелевые рубашки, течет по спине, делается холодно; снова оступаешься, хватаешься за куст, колешься. Вдруг сверкает яркая молния, освещает своим голубоватым блеском и далекий горизонт, и белый прибой берега, капли дождя, весь лес, каждый листок и даже шип, который сейчас уколол руку,— только одна секунда, и опять все черно и мокро, и неудобно; но этой секунды достаточно, чтобы красотой окружающего возвратить мне мое

обыкновенное хорошее расположение духа, которое меня редко покидает, если я нахожусь среди красивой местности и если около меня нет надоедающих мне людей.

Однако уже 9 часов. Лампа догорает. Чай допит, и от капающей везде воды становится очень сыро в моей келье, надо завернуться скорее в одеяло и продолжать свое дальнейшее существование во сне.

5 декабря. После дождя собрал множество насекомых и нашел также очень красивый и курьезный гриб. Бой (*В рукописи далее: у которого вследствие застарелого и оставлена чистая строка*) так слаб, что почти не держится на ногах. Сегодня бедняга упал, сходя с лестницы. Ульсон лежал и охал, закрывшись с головою одеялом. Когда я заметил упавшего Боя у лестницы, я кое-как втащил его обратно в комнату. Он был в каком-то забытьи и не узнавал меня.

Сегодня опять пошел дождь с 4 часов. Везде все сыро.

6 декабря. Бой очень страдает, я не думаю, что он проживет долго. Другой инвалид сидит, тоже повеся нос.

Приходил Туй и, сидя у меня на веранде, между прочим с очень серьезным видом сообщил, что Бой умрет скоро, что Виль (туземцы так называют Ульсона) болен и что Маклай останется один; при этом он поднял один палец, потом, показывая на обе стороны, продолжал: «Придут люди из Бонгу и Гумбу,— при этом он указывал на все пальцы рук и ног, т. е. много людей,— придут и убьют Маклая». Тут он даже показывал, как мне проколят копьем шею, грудь, живот, и нараспев печально приговаривал: «О Маклай! О Маклай!».

Я сделал вид, что отношусь к этим словам как шутке (сам же был убежден в возможности такого обстоятельства), и сказал, что ни Бой, ни Виль, ни Маклай не умрут, на что Туй, поглядывая на меня как-то недоверчиво, продолжал тянуть самым жалостным голосом: «О Маклай! О Маклай!».

Этот разговор, мне кажется, тем более интересен, что, во-первых, это может действительно случиться, а, во-вторых, по всей вероятности, мои соседи толковали об этом на днях, иначе Туй не поднял бы старого вопроса о моем убиении.

Скучно то, что вечно нужно быть настороже; впрочем, это не помешает спать. Пришло человек 8 туземцев из Горенду и Мале. Будучи в хорошем расположении духа, я каждому гостю из Мале дал по подарку, хотя они сами ничего не принесли.

Туй и Лали спросили меня вдруг: «Придет ли когда корвет?» Разумеется, определенного ответа я не мог дать. Сказать же: «Придет, но когда, не знаю»,— я не сумел. Не умею также выразить большое число по-папуасски. Думая, что нашел случай поглядеть, как мои соседи считают, я взял несколько полосок бумаги и стал резать их поперек. Нарезал, сам не знаю сколько, и передал целую пригоршню одному из туземцев Мале, сказав, что каждая бумажка означает два дня. Вся толпа немедленно его обступила. Мой папуас стал считать по пальцам, но, должно быть, неладно, по крайней мере другие папуасы решили, что он не умеет считать, и обрезки были переданы другому. Этот важно сел, позвал другого на помощь, и они стали считать. Первый, раскладывая кусочки бумаги на колене, при каждом обрезке повторял: «наре, наре» (один); другой повторял слово «наре» и загибал при этом палец, прежде на одной, затем на другой руке. Насчитав до 10 и согнув пальцы обеих рук, опустил оба кулака на колени, проговорив: [...] (*В рукописи пропуск*,

*оставленный для слов на языке бонгу)* — «две руки», причем третий папуас загнул один палец руки. Со вторым десятком было сделано то же, причем третий папуас загнул второй палец; то же самое было сделано для третьего десятка; оставшиеся бумажки не составляли четвертого десятка и были оставлены в стороне. Все, кажется, остались довольными, три раза повторяя [...] (*В рукописи пропуск, оставленный для слов на языке бонгу*). Мне снова пришлось смутить их; взяв один из обрезков, я показал два пальца, прибавив: «бум-бум» — день, день. Опять пошли толки, но порешили тем, что завернули обрезки в лист хлебного дерева, тщательно обвязали его, чтобы, должно быть, пересчитать их в деревне .

Вся эта процедура показалась мне очень интересной. Недоверие папуасов и какая-то боязнь передо мною, разумеется, мне очень неприятны. Пока они будут не доверять мне, я ничего от них не добьюсь.

Бой вряд ли проживет еще много дней. Ульсон такой трус, что при нем туземцы могут разграбить и сжечь дом. Но как только научусь более туземному языку, так перестану сидеть дома. Кое-какие инструменты и письменные принадлежности закопаю, находя, что они будут сохраннее в земле, чем в доме, под охраною одного Ульсона.

*8 декабря.* Вчера вечером мимо моего мыска проезжали две пироги с огнем. Ночь была тихая и очень темная. Мне пришла фантазия зажечь фальшфейер . Эффект был очень удачен и на моих папуасов произвел, вероятно, сильное впечатление: все факелы были брошены в воду, и когда после полуминутного горения фальшфейер потух, пирог и след простыл. Приходил Лалай из Били-Били, человек с очень характерной физиономией, с крючковатым носом и очень плохо развитыми икрами. Было бы, однако ж, неверно придавать этому обстоятельству значение расового признака. Брат этого человека имеет нос вовсе не крючковатый, совершенно сходный с носами других туземцев, а что ноги его представляются такими худощавыми, это также не удивительно, имея в виду жизнь на маленьком острове или в пироге, в поездках по деревням. У горных жителей икры прекрасно развиты, как это я заметил у приходивших туземцев-горцев.

Затем нагрянула целая толпа людей из Бонгу с двумя мальчиками лет семи или восьми. У этих ребят очень ясно выдавался африканский тип: широкий нос, большой, немного выдающийся вперед рот с толстыми губами, курчавые черные волосы. Животы у них очень выступали и казались туго набитыми. Между детьми такие негроподобные особи встречаются гораздо чаще, чем между взрослыми.

Бой очень плох. Ульсон начинает поговаривать, что хорошо было бы выбраться отсюда, а я отвечаю, что я не просил его отправляться со мною в Новую Гвинею и даже в день ухода «Витязя» предлагал ему вернуться на корвет, а не оставаться со мною. Он каждую ночь ожидает, что туземцы придут и перебьют нас, и ненавидит Туя, которого считает за шпиона.

Недавно в начале ночи, часу в двенадцатом, я был пробужден от глубокого сна многими голосами, а затем ярким светом у самого спуска от площадки к морю. Вероятно, несколько пирог приближались или уже приблизились к нам. Ульсон завопил: «Идут, идут». Я вышел на веранду и был встречен ярким светом факелов и шестью туземцами, вооруженными стрелами и копьями, беспрестанно зовущими меня по имени. Я не двигался с места, недоумевая, что им от меня нужно. Ульсон же, подойдя сзади, сам вооруженный ружьем, совал мне двустволку, приговаривая: «Не пускайте их идти далее». Я знал, что выстрел одного дула, заряженного дробью, обратит в бегство большую толпу туземцев, не знающих еще действия огнестрельного оружия (Я до сих пор не стрелял из ружья или револьвера в присутствии туземцев. Звуки выстрелов, когда я убиваю птиц в

лесу, они не соединяют с понятием о смертоносном оружии), и поэтому ждал спокойно, тем более что мне казалось, что я узнаю знакомые голоса.

Действительно, когда после слова «гена» (иди сюда), которым я их встретил, они высыпали на площадку перед верандой, каждый из них, придерживая левой рукой свое оружие и факел и вопя: «Ники, ники!», протягивал мне правую с несколькими рыбками. Я поручил несколько пристыженному Ульсону собрать рыбу, которой ему давно хотелось. При этом группа вооруженных дикарей, освещенных яркими факелами, заставляла меня пожалеть, что я не художник: так она была живописна. Спускаясь к своим пирогам, они долго кричали мне на прощанье: «Эме-ме, эме-ме», а затем быстро скрылись за мыском. Рыба оказалась очень вкусной.

*13 декабря.* Несмотря на большое утомление, хочу записать происшествия дня, так как нахожу, что рассказ выйдет более реален, пока ощущения еще не ступшеваны несколькими часами сна.

Теперь ровно 11 час. 50 мин. вечера, и я удобно сижу в моем зеленом кресле и записываю при свете очень неровно горящей лампы происшествия дня.

Встав утром, я счел сообразным с моим настоящим положением приготовить все, чтобы зарыть в землю при первой необходимости мои бумаги, не только исписанные, т. е. дневник, метеорологический журнал, заметки и рисунки, но и чистую бумагу на случай, если я уцелею, а хижина будет разграблена или сожжена туземцами. Пришедший Туй показался мне сегодня действительно подозрительным. Поведение его как-то смахивало на шпионство. Он обходил, внимательно смотря кругом, нашу хижину, посматривал с большим интересом в комнату Ульсона, причем несколько раз повторял: «О Бой, о Бой»; затем, подойдя ко мне, пристал отпустить Боя в Гумбу, чем мне так надоел, что я ушел в комнату и этим заставил уйти и его (*Анучиным добавлено:* и его). К полудню я почувствовал легкий пароксизм, выразившийся в очень томительной зевоте и чувстве холода и подергивания во всем теле. Я оставался на ногах все утро, находя лучшим при таких условиях лечиться только в самой крайней необходимости.

Приехало трое туземцев из Горенду. Один из них, заглянув в комнату Ульсона и не слыша стонов Боя, спросил, жив ли он, на что я ему ответил утвердительно. Туземцы стали снова предлагать взять Боя с собою. На что он им? Не понимаю. Бояться его как противника они не могут; может быть, желают приобрести в нем союзника? Теперь уже поздно.

Пообедав спокойно, я указал Ульсону на громадный ствол, принесенный приливом, угрожавший нашей шлюпке, и послал его сделать что-нибудь, чтобы ствол не придавил ее. Сам же вернулся в дом заняться письменной работой; но стоны Боя заставили меня заглянуть в его комнату. Несчастный катался по полу, скорчившись от боли. Подоспев к нему, я взял его на руки, как ребенка,— так он похудел в последнюю неделю,— и положил на койку. Холодные, потные, костлявые руки, охватившие мою шею, совершенно холодное дыхание, ввалившиеся глаза и побелевшие губы и нос убедили меня, что недолго остается ему стонать. Боль брюшной полости, очень увеличившаяся, подтвердила мое предположение, что к другим недугам присоединилось Peritonitis (*Анучиным добавлено:* (воспаление брюшины)).

Я вернулся к своим занятиям.

Во второй раз что-то рухнуло на пол и послышались стоны. Я снова поднял Боя на постель; его холодные руки удерживали мои; он как будто желал мне что-то сказать, но не

смог. Пульс был слаб, иногда прерывался, и конечности заметно холодели. Снова уложив его, я сошел к берегу, где Ульсон возился со шлюпкой, и сказал ему, что Бой умрет часа через полтора или два. Это очень подействовало на Ульсона, хотя мы ожидали эту смерть уже недели две и не раз говорили о ней. Мы вместе вошли в комнату; Бой метался по полу, ломая себе руки. Жалко было смотреть на него, так он страдал. Я достал из аптеки склянку с хлороформом и, налив несколько капель на вату, поднес ее к носу умирающего. Минут через 5 он стал успокаиваться и даже пробормотал что-то; ему, видимо, было лучше. Я отнял вату.

Ульсон стоял совершенно растерянный и спрашивал, что теперь делать. Я коротко сказал ему, что тело мы бросим сегодня ночью в море, а теперь он должен набрать несколько камней и положить их в шлюпку, и чем больше, тем лучше, для того чтобы тело сейчас же пошло ко дну. Ульсону это поручение не особенно понравилось, и мне пришлось добавить несколько доводов: что нам невозможно нянчиться с разлагающимся телом, так как гниение в этом климате начнется сейчас же после смерти; что хоронить его днем, при туземцах, я не намерен и что вырыть глубокую яму в коралловом грунте слишком тяжело, недостаточно же глубокую могилу туземные собаки разыщут и разроют. Последние два довода поддержали немного его падающий дух.

Чтобы быть уверенным, что все будет сделано, а главное — чтобы камней было бы достаточно, чтобы не допустить тело всплыть, я отправился сам к шлюпке. Поднявшись затем к дому, я зашел к Бою посмотреть, в каком он положении. В комнате было совсем темно, стонов не было слышно. Я ощупью добрался до его руки. Пульса более не было. Нагнувшись к нему и приложив одну руку к сердцу, другую ко рту, я не почувствовал ни биения, ни дыхания. Пока мы ходили к ручью за камнями, он умер так же молча, как и лежал во все время своей болезни. Я зажег свечу и посмотрел на тело. Оно лежало в том положении, как Бой обыкновенно спал и сидел, т. е. поджавши ноги и скрестив руки. Ульсон, стоявший за мной, несмотря на то что при жизни Боя он постоянно бранил его и скверно отзывался о нем, был очень тронут и стал говорить о боге и об исполнении воли его. Не имея на то никакого основания, мы оба говорили очень тихо, как будто боясь разбудить умершего. Заметив это обстоятельство, я вспомнил невольно слова Шопенгауэра [...] (*В рукописи оставлено несколько чистых строк*) и вполне согласился с его объяснением. Когда я выразил Ульсону свое давнишнее намерение — именно распилить череп Боя и сохранить мозг его для исследования, Ульсон совсем осовел и умильно упрашивал меня этого не делать.

Соображая, каким образом удобнее совершить эту операцию, я к досаде моей открыл, что у меня не имеется достаточно большой склянки для помещения целого мозга. Ожидая, что каждый час могут явиться туземцы и, пожалуй, с серьезными намерениями, я отказался без сожаления от намерения сохранить мозг полинезийца, но не от возможности добыть препарат гортани со всеми мускулами, языком и т. д., вспомнив обещание, данное мною моему прежнему учителю проф. Г., живущему ныне в Страсбурге, прислать ему гортань темнокожего человека со всею мускулатурой ее. Достав анатомические инструменты и приготовив склянку со спиртом, я вернулся в комнату Боя и вырезал гортань с языком и всей мускулатурой. Кусок кожи со лба и головы с волосами пошли в мою коллекцию. Ульсон, дрожа от страха перед покойником, держал свечку и голову Боя. Когда же при перерезании *plexus brachialis* рука Боя сделала небольшое движение, Ульсон так испугался, что я режу живого человека, что уронил свечку, и мы остались в темноте. Наконец, все было кончено, и надо было отправлять труп Боя в сырую могилу, но так осторожно, чтобы соседи наши ничего не знали о случившемся.

Не стану описывать подробно, как мы вложили покойника в два больших мешка, как зашнуровали их, оставив отверстие для камней, как в темноте несли его вниз к шлюпке, как при спуске к морю благодаря той же темноте Ульсон оступился и упал, покойник на него, а за покойником и я; как мы не смогли сейчас же найти нашу ношу, так как она скатилась удачнее нашего, прямо на песок. Отыскав, однако же, его, мы опустили его, наконец, в шлюпку и вложили пуда 2 камней в мешок. Все это было очень неудобно делать в темноте. Был отлив, как на зло. Нам опять стоило больших усилий стащить по камням тяжелую шлюпку в воду.

Не успели мы взяться за весла, как перед нами в одной четверти мили из-за мыса Габина (мыса Обсервации на карте) мелькнул один, затем второй, третий... десятый огонек. То были одиннадцать пирог, приближавшихся в нашу сторону. Туземцы непременно заедут к нам или, увидя шлюпку, подъедут близко к ней. Их ярко горящие факелы осветят длинный мешок, который возбудит их любопытство.

Одним словом, то, чего я не желал, т. е. чтобы туземцы узнали о смерти Боя, казалось, сейчас наступит. «Нельзя ли Боя спрятать в лес?»,— предложил Ульсон. Но теперь, с камнями и телом, мешок был слишком тяжел для того, чтобы тащить его между деревьями, и потом туземцы будут скоро здесь. «Будем грести сильнее,— сказал я,— мы, может быть, ускользнем». Последовали два, три сильных взмаха веслами, но что это? — шлюпка не подвигается, мы на рифе или на мели. Папуасы все ближе, мы из всех сил принялись отпихиваться веслами, но безуспешно.

Наше глупое положение было для меня очень досадно; я готов был прыгнуть в воду, чтобы удобнее спихнуть шлюпку с мели; я хотел сделать это, даже несмотря на присутствие многочисленных акул. Мне пришла счастливая мысль осмотреть наш борт; моя рука наткнулась тогда на препятствие. Оказалось, что второпях и в темноте отданный, но не выбранный конец, которым шлюпка с кормы прикреплялась к берегу, застрял между камнями и запутался между сучьями, валявшимися у берега, и что именно он-то и не пускает нас. С большим удовольствием схватил я нож и, перерезав веревку, освободил шлюпку.

Мы снова взяли за весла и стали сильно грести. Туземцы выехали на рыбную ловлю, как и вчера; их огни сверкали все ближе и ближе. Можно было слышать голоса. Я направил шлюпку поперек их пути, и мы старались как можно тише окунать весла в воду, чтобы не возбудить внимания туземцев. «Если они увидят Боя с перерезанным горлом, они скажут, что мы убили его, и, пожалуй, убьют нас»,— заметил Ульсон. Я в половину разделял это мнение и не особенно желал встретиться в эту минуту с туземцами. Всех туземцев на пирогах было 33 — по три человека на пироге. Они были хорошо вооружены стрелами и копьями и, сознавая свое превосходство сил, могли очень хорошо воспользоваться обстоятельствами. Но и у нас были шансы: два револьвера могли, очень может быть, обратить всю толпу в бегство. Мы гребли молча, и отсутствие огня на шлюпке было вероятною причиною, что нас не заметили, так как факелы на пирогах освещали ярко только ближайшие предметы вокруг них. Нас действительно, кажется, не замечали.

Туземцы были усердно заняты рыбной ловлею. Ночь была тихая и очень темная; от огней на пирогах шли длинные столбы отблеска на спокойной поверхности моря. Каждый взмах весел светился тысячами искр. При таком спокойном море поверхностные слои его полны очень богатою и разнообразною жизнью. Я пожалел, что нечем было зачерпнуть воды, чтобы посмотреть завтра, нет ли чего нового между этими животными, и совсем забыл о присутствии покойника в шлюпке и о необходимости хоронить его.



Любуясь картиною, я думал, как скоро в человеке одно чувство сменяется совершенно другим. Ульсон прервал мои думы, радостно заметив, что пироги отдаляются значительно от нас и что никто нас не видел. Мы спокойно продолжали путь и, отойдя, наконец, на милю приблизительно от мыска Габина, опустили мешок с трупом за борт. Он быстро пошел ко дну; но я убежден, что десятки акул уничтожат его, вероятно, в эту же ночь.

Вернулись домой, гребя на этот раз очень медленно. Пришлось опять, благодаря темноте и отливу, долго возиться со шлюпкой. В кухонном шалаше нашелся огонь, и Ульсон пошел приготовить чай, который теперь, кажется, готов и который я с удовольствием выпью, дописав это последнее слово.

*14 декабря.* Встав, я приказал Ульсону оставить все в его отделении хижины, как было при Бое, и в случае прихода туземцев не заикаться о смерти его. Туй не замедлил явиться с двумя другими, которых я не знал; один из них вздумал подняться на первую ступеньку лестницы, но когда я ему указал, что его место — площадка перед домом, а не лестница, он быстро соскочил с нее и сел на площадке. Туй снова заговорил о Бое и с жаром стал рассуждать, что, если я отпущу Боя в Гумбу, то тот человек, который пришел с ним, непременно его вылечит. Я ему отвечал отрицательно. Чтобы отвлечь их мысли от Боя, я вздумал сделать опыт над их впечатлительностью.

Я взял блюдечко из-под чашки чаю, которую я допивал; вытерев его досуха и налив туда немного спирта, я поставил на веранду и позвал моих гостей. Взяв затем стакан воды, сам отпил немного и дал попробовать одному из туземцев, который также убедился, что это была вода. Присутствующие с величайшим интересом следили за каждым движением. Я прилил к спирту на блюдечке несколько капель воды и зажег спирт. Туземцы полуоткрыли рот и, со свистом втянув воздух, подняли брови и отступили шага на два. Я брызнул тогда горящий спирт из блюдечка, который продолжал гореть на лестнице и на земле. Туземцы отскочили, боясь, что я на них брызну огнем, и, казалось, были так поражены, что убрались немедленно, как бы опасаясь видеть что-нибудь еще страшнее. Но минут через 10 они показались снова и на этот раз уже целою толпою. То были жители Бонгу, Били-Били и острова Кар-Кар (Кар-Кар — туземное название о. Дампира). Толпа была очень интересна, представляя людей всех возрастов; на всех было их праздничное убранство, но особенно гости мои отличались украшениями, матерьял которых совершенно определялся местом их жительства. Так, например, мои соседи, мало занимающиеся рыбной ловлей, имели украшения преимущественно из цветов, листьев и семян, между тем как на жителях Били-Били и Кар-Кара, живущих у открытого моря и занимающихся ловлею морских животных, были навешаны разного рода убранства из раковин, костей рыб, скорлупы черепах и т. п.

Жители Кар-Кара представляли еще ту особенность, что все тело, преимущественно голова, было вымазано черною землею и так основательно, что при первом взгляде можно было подумать, что цвет их кожи действительно такой черный, но при виде некоторых из них, у которых одна только голова была окрашена, легко можно было убедиться, что и у первых черный цвет был искусственный и что тело жителей Кар-Кара в действительности только немногим темнее жителей этого берега.

Жители Бонгу были сегодня, как бы в контраст своим черным гостям, вымазаны красною охрою; и в волосах, и за перевязями рук, и под коленями у них были воткнуты красные цветы *Hibiscus*. Всех пришедших было не менее 40 человек, и 3—4 между ними отличались положительно красивым лицом. Прическа каждого из них представляла какое-нибудь отличие от всех остальных. Кроме того, что волосы были окрашены самым разнообразным образом, частью черной, частью красной краской, в них были воткнуты

гребни, украшенные разными цветными перьями (какаду, разных других попугаев, казуара, голубей и белых петухов). У многих гостей из Кар-Кара мочка уха была оттянута в виде петли значительных размеров, как на всех островах Новых Гебридских и Соломоновых. Гости оставались более двух часов. Пришедшие знали от Туя о горячей воде, и всем хотелось видеть ее. Туй упрашивал показать всем, «как вода горит».

Когда я исполнил эту просьбу, эффект был неописанный: большинство бросилось бежать, прося меня, убегая, «не зажечь моря».

Многие остались стоять, будучи так изумлены и, кажется, испуганы, что ноги, вероятно, изменили им, если бы они двинулись. Они стояли, как вкопанные, озираясь кругом с выражением крайнего удивления. Уходя, все наперерыв приглашали меня к себе, кто в Кар-Кар, кто в Сегу, в Рио и в Били-Били, и мы расстались друзьями. Не ушли только несколько туземцев из Кар-Кара и Били-Били, которые стали просить о «гаре» (кожа), чтобы покрыть раны, гной которых привлекал целые стаи мух; они летали за ними и, конечно, очень надоедали и мучили их, облепляя раны, как только пациент переставал отгонять их. Я не мог помочь им серьезно, но облегчил их значительно, обмыв раны карболовой водой, а затем перевязав их карболовым маслом и освободив их, таким образом, хотя и временно, от мух.

Из одной раны я вынул сотни личинок, и, разумеется, этот туземец имел причину быть мне благодарным. Я особенно тщательно обмыл и перевязал раны на ноге ребенка лет пяти, который был принесен отцом. Последний так расчувствовался, что, желая показать мне свою благодарность, снял с шеи ожерелье из раковин и захотел непременно надеть его на меня.

*15 декабря.* Снова больные из Били-Били; один страдает сильною лихорадкою; я хотел дать ему хины, разумеется, не во время пароксизма, и показал ему, что приду потом и дам выпить «оним» (т. е. лекарство) ; но он усиленно замахал головой, приговаривая, что умрет от моего лекарства. Принимать что-либо туземцы боятся, хотя очень ценят наружные средства. У Боя осталась бутылка с кокосовым маслом, настоенным на каких-то душистых травах. Один туземец из Били-Били жаловался очень на боль спины и плеч (вероятно, ревматизм); я ему предложил эту бутылку с маслом, объяснив, что надо им натираться, за что он сейчас же и принялся. Сперва он делал это с видимым удовольствием, но вдруг остановился, как будто соображая что-то, а затем, вероятно подумав, что, употребляя незнакомый «оним», он, пожалуй, умрет, пришел в большое волнение, бросился на своего соседа и стал усердно тереть ему спину, а потом, вскочил на ноги, как сумасшедший, стал перебегать от одного к другому, стараясь мазнуть их маслом. Вероятно, он думал при этом, что если с ним случится что-нибудь неладное, так то же самое должно случиться и с другими. Его товарищи, очень озадаченные его поведением, не знали, как отнестись к этому, не знали, сердиться ли им или смеяться.

Сегодня я убедился, что наречие Били-Били отличается от здешнего (диалекта Бонгу, Горенду и Гумбу), и даже записал несколько слов, несколько не схожих с диалектом Бонгу. Приходил опять отец с детьми, которые мне показались не темнее жителей Самоа.

*16 декабря.* Занимался уборкою в моем палаццо, что всегда отнимает много времени, и вполне согласился с верностью индусского афоризма (*В рукописи оставлены чистыми 3 строки*). Если это случается даже с высокоумными людьми, то подавно может случиться со мной, вовсе не претендующим на такую мудрость. Я положительно не имел времени на научные исследования последние недели.

*18 декабря.* Туземцев не видать, и очень часто думаю, как я хорошо сделал, устроившись так, чтоб не иметь слишком близких соседей.

Сегодня я случайно обратил внимание на состояние моего белья, упакованного в одной из корзин, служащей мне койкой. Оно оказалось покрытым во многих местах черными пятнами, и места, где были эти пятна, можно без затруднения проткнуть пальцем. Это, разумеется, была моя вина: я ни разу в продолжение 3 месяцев не подумал проветрить белье. Я поручил Ульсону вывесить все на солнце; многое оказалось негодным.

Сегодня туземцы спрашивали меня, где Бой. Я отвечал им: «Бой арен» (Боя нет). «Где же он?» — был новый вопрос. Не желая говорить неправду, не желая также показать ни на землю, ни на море, я просто махнул рукой и отошел. Они, должно быть, поняли, что я указал на горизонт, где далеко-далеко находится Россия. Они стали рассуждать и, кажется, под конец пришли к заключению, что Бой улетел в Россию. Но что они действительно думают и что понимают под словом «улетел», я не имею возможности спросить, не зная достаточно туземного языка.

Сделал сегодня интересное приобретение: выменял несколько костяных инструментов, которые туземцы употребляют при еде,— род ножа и две ложки. Нож называется туземцами «донган», сделан из заостренной кости свиньи, между тем как «шелюпа» — из костей кенгуру. Она обточена так, что один конец ее очень расширен и тонок. Приложенный рисунок даст лучшее понятие, чем длинное объяснение.

*20 декабря.* Наша хижина приняла очень жилой вид, и обстановка в ней очень удобна при хорошей погоде. Когда льет дождь, то течь в разных местах крыши очень неудобна. Приходили туземцы из Бонгу. Они, кажется, серьезно думают, что Бой отправлен мною в Россию и что я дал ему возможность перелететь туда. Я прихожу к мысли, что туземцы считают меня и в некоторой степени Ульсона какими-то сверхъестественными существами.

*25 декабря.* Три дня лихорадки. Ложился только на несколько часов каждый день, когда уж буквально не мог стоять на ногах. Положительно ем хину; приходится по грамму в день. Сегодня лучше, пароксизма не было, но все-таки чувствую большую слабость. Ноги как бы налиты свинцом и частые головокружения. Ульсон очень скучает. Для него одиночество особенно ощутительно, потому что он очень любит говорить. Он придумал говорить сам с собою, но этого ему кажется мало.

Замечательно, как одиночество действует различно на людей. Я только вполне отдыхаю и доволен, когда бываю один, и среди этой роскошной природы я чувствую себя — за исключением тех дней, когда у меня бывает лихорадка,— вполне хорошо во всех отношениях. Сожалею только, когда натыкаюсь на вопросы, которые вследствие недостаточности моих знаний не могу объяснить. Бедняга Ульсон совсем обескуражен: хандрит и охает постоянно, ворчит, что здесь нет людей и что здесь ничего не достанешь. Из предупредительного и веселого он стал раздражительным, ворчливым и мало заботящимся о работе; спит он около 11 часов ночью, даже еще час или полтора после завтрака и находит здесь все-таки «das Leben sehr miserabel» («Эту жизнь очень жалкой» (нем)).

В чем я начинаю чувствовать, однако же, положительный недостаток — это в животной пище. Вот уж три месяца, как мы питаемся исключительно растительною пищею, и я замечаю, что силы мои слабеют. Отчасти, разумеется, это происходит от лихорадки, но главным образом от недостатка животной пищи. Есть все консервы мне так противно, что

я и не думаю приниматься за них. Как только я буду в лучших отношениях с туземцами, то займусь охотой, чтоб немного разнообразить стол. Свинину, которую я мог бы иметь здесь вдоволь, я терпеть не могу. Вчера Туй принес мне и Ульсону по значительной порции свинины. Я, разумеется, отдал свою Ульсону, который принялся за нее сейчас же и съел обе порции, не вставая с места. Он не только обглодал кости, но съел также и всю толстую кожу (свинина (*Исправлено на свинья другим почерком*) была старая). Смотря на него и замечая, с каким удовольствием он ел, я подумал, что никак нельзя ошибиться в том, что человек животное *плотоядное*.

Со шлюпкою много дела, так как настоящее якорное место очень плохо.

При рисовании мелких объектов руки мои, привыкшие уже к топорной работе, к напряжению больших систем мускулов, плохо слушаются, в особенности когда требуется от них движения отдельных мускулов. Вообще при моей теперешней жизни, т. е. когда приходится быть часто и дровосеком, и поваром, и плотником, а иногда и прачкою, и матросом, а не только барином, занимающимся естественными науками, рукам моим приходится очень плохо. Не только кожа на них огрубела, но даже сами руки увеличились, особенно правая. Разумеется, не скелет руки, а мускулатура ее, отчего пальцы стали толще и рука шире.

Руки мои и прежде не отличались особенною нежностью, но теперь они положительно покрыты мозолями, обрезами и ожогами; каждый день старые подживают, а новые являются. Я заметил также, что ногти мои, которые были всегда достаточно крепки для моих обыкновенных занятий, теперь оказываются слишком слабыми и надламываются. На днях я сравнил их с ногтями моих соседей-папуасов, которым, как не имеющим разнообразных инструментов, приходится работать руками гораздо больше моего. Оказалось, что у них ногти замечательнейшие, по крайней мере в три раза толще моих (я срезал их и мой ноготь для сравнения). Особенно толсты у них ногти больших пальцев, причем средняя часть ногтя толще, чем по бокам. Вследствие этого по сторонам ногти легче обламываются, чем в середине, и нередко можно встретить у туземцев ногти, совершенно уподобляющиеся когтям.

*27 декабря.* Пока пришедшие туземцы разглядывали в выпрошенных у меня зеркалах свои физиономии и выщипывали себе лишние, по их мнению, волосы, я осматривал содержание одной из сумок (так наз. «гун»), носимых мужчинами на перевязи через левое плечо и болтающихся у них под мышкой. Я нашел в ней много интересного. Кроме двух больших «донганов» тут были кости, отточенные на одном конце, служащие как рычаг, кол или нож; в небольшом бамбуковом футляре нашлись четыре заостренные кости, очевидно инструменты, могущие заменить ланцет, иглу или шило; затем «ярур», раковину (*Cardium*), имеющую зубчатый нижний край и служащую у туземцев для выскребывания кокосов. Был также удлиненный кусок скорлупы молодого кокосового ореха, заменяющий ложку; наконец, данный мною когда-то большой гвоздь был тщательно отточен на камне и обернут очень аккуратно корою (разбитою подобно тапе полинезийцев; это могло служить очень удобным шилом. Все эти инструменты были очень хорошо приспособлены к своей цели. Туземцы очень хорошо плетут разные украшения, как браслеты (сагю), повязки для придерживания волос (дю) из различных растительных волокон. Но странно, они не плетут циновок, материал для которых (листья пандануса) у них в изобилии. Я не знаю, чему приписать это обстоятельство: отсутствию ли надобности в циновках или недостатку терпения .

Корзины, сплетенные из кокосовых листьев, чрезвычайно схожи с полинезийскими. Они их очень берегут; правда, при их примитивных инструментах из камней и костей, каждая

работа не очень легка; так, например, над деревцом сантиметров 14 диаметром двум папуасам приходится проработать со своими каменными топорами, если они хотят срубить его аккуратно, не менее получаса. Все украшения и обтеску им приходится делать камнем, обточенным в виде топора, костями, также обточенными, осколками раковин или кремнем, и можно только удивляться, как с помощью таких первобытных инструментов они строят порядочные хижины и пироги, не лишённые иногда довольно красивых орнаментов. Заметив оригинальность и разнообразие последних, я решил скопировать все орнаменты, которые встречаю на туземных вещах .

28 декабря. Я остановил проходящую пирогу из Горенду, узнав стоящего на платформе Бонема, старшего сына Туя. Он был особенно разукрашен в это утро. В большую шапку взбитых волос было воткнуто множество перьев и пунцовых цветов *Hibiscus*. Стоя на платформе пироги с большим луком и стрелами в руках, внимательно глядя по сторонам, следя за рыбою, грациозно балансируя при движениях очень маленькой пироги, каждую минуту готовый натянуть тетиву лука и спустить стрелу, фигура его действительно была очень красива. Длинные зеленые и красные листья *Colodracon* (*Colodracon* *вписано другим почерком*), заткнутые за браслеты на руках и у колен, а также по бокам за пояс, который был сегодня совершенно новый, окрашенный заново охрою и поэтому ярко-красный, немало способствовали приданию Бонему особенно праздничного вида.

Туземцы с видимым удовольствием приняли мое приглашение, сделанное мною с целью не упустить случая снять рисунок красивой куафюры (*прическа (от фр. coiffure)*) молодого папуаса. Она состояла, как видно на приложенном рисунке , из гирлянды или полувенка пунцовых цветов *Hibiscus*; спереди — три небольших гребня, каждый с пером, поддерживали гирлянду и тщательно вычерненные волосы; четвертый, большой гребень, также с двумя цветами *Hibiscus*, придерживал длинное белое петушиное перо, загибающееся крючком назад. Чтобы другие два туземца не мешали мне, я дал им табак и отослал курить на кухню, в шалаш, и когда кончил рисунок, согласился исполнить их просьбу дать им зеркало, после чего каждый поочередно принялся за подновление прически.

Бонем вытащил все гребни и цветы из волос и принялся большим из гребней взбивать слежавшиеся в некоторых местах, как войлок, волосы, после чего волосная шапка увеличилась раза в 3 против первоначального; он подергал локоны на затылке, или «гатесси», которые тоже удлинились. После этого он снова воткнул цветы и гребни в свой черный парик, посмотрел в зеркало, улыбнулся от удовольствия и передал зеркало соседу, который в свою очередь принялся за свою куафюру. (Я рассказываю эти мелочи потому, что они объясняют, после каких манипуляций волосы папуасов представляют иногда различный вид, который побудил некоторых путешественников, заглядывавших в разные местности Новой Гвинеи на очень короткое время, своими сообщениями подать повод к значительной разногласию, встречающейся в разных учебниках по антропологии). Из плотно прилегающей к голове мелкокурчавой куафюры обоих туземцев, сопровождавших Бонема, она превратилась минут через 5 раздергивания и взбивания в эластичную шапку папуасских волос, так часто описанную путешественниками, которые видели в ней что-то характеристичное для некоторых «разновидностей» папуасской расы.

Налюбовавшись своими физиономиями и прическами, мои гости вернулись в свою пирогу, прокричав мне: «Эме-ме» (не знаю все еще, что это значит) .

У Ульсона сегодня лихорадка. Не успел я немного оправиться, как он заболевает.

*29 декабря.* Заходил в Горенду напомнить туземцам, что они давно не приносили мне свежих кокосов. «Не приносили оттого,— хором возразили папуасы,— что «тамо-русс» (русские люди, матросы «Витязя») срубили много кокосовых деревьев и теперь мало осталось кокосовых орехов».

Зная очень хорошо, что это было большое преувеличение и что если это случилось, то только в виде исключения, я предложил указать мне, где срубленные деревья. Несколько туземцев вскочили и побежали указать мне срубленные стволы кокосовых пальм около самой деревни, приговаривая: «Кокосы есть можно, но рубить стволы нехорошо». Они были правы, и я должен был замолчать.

Привезенная посуда мало-помалу исчезает, бьется, почему мне приходится заменять ее туземною — небольшими табирами вместо блюд и раковинами скорлупы кокосовых орехов, служащими мне тарелками.

Туземцы здесь чернят себе не только физиономии, но и рот (язык, зубы, десны и губы) веществом, которое они разжевывают; оно называется «таваль». Это они делают не постоянно, а при особенных случаях.

## **1872 год**

*1 января.* Ночью была сильная гроза. Проливной дождь шел несколько раз ночью и днем. Ветер был также силен. Лианы, подрубленные у корня при расчистке площадки и висевшие до сих пор во многих местах над крышей, падали, и одна из них, около 7 м длины и 3—4 см толщины, свалилась с большим шумом, пробила крышу и разбила один из термометров, которым я обыкновенно мерил температуру воды.

*2 января.* Ночью свалилось с шумом большое надрубленное у корня дерево и легло поперек ручья. Было много работы очистить последний от сучьев и листьев.

*3 января.* Туй, возвращаясь с плантации, принес сегодня очень маленького поросенка, которого собака загрызла, но не успела съесть. Большая редкость животной пищи и постоянное хныканье Ульсона о куске мяса были причиною, почему я сейчас же взял подарок Туя. Маленькое, очень худое животное оказалось для меня интересным, представляя новую полосатую разновидность. Темно-бурые полосы сменялись светло-рыжими, грудь, брюхо и ноги были белые. Я отпрепарировал голову, сделал эскиз, а затем передал поросенка Ульсону, который принялся чистить, скоблить и варить его. Смотри на Ульсона, занятого приготовлением, а потом едою его, можно было видеть, насколько люди — животные плотоядные; да, кусок говядины — важная вещь. Мне не кажется особенно странным, что люди, прежде имевшие животную пищу, переселясь в местность, где не было таковой, стали есть человеческое мясо, которое к тому же очень вкусно, как уверяют знатоки.

Несколько дней тому назад, занимаясь рассматриванием моей коллекции волос папуасов, я констатировал несколько интересных фактов, например: распределение волос на голове туземцев считается специальною особенностью папуасской породы людей. Уже давно мне казалось неверным положение, что волосы папуасов растут пучками или группами на теле. Но громадный парик моих соседей не позволял ясно убедиться, как именно они распределены. Присматриваясь к распределению волос на висках, затылке и верхней части шеи у взрослых, я мог заметить, что особенной группировки волос пучками не существует, но до сих пор коротко обстриженную голову туземца мне не случалось еще видеть. После завтрака, лежа в моем гамаке, я скоро заснул, так как свежий ветер качал

мою койку. Сквозь сон услышал я голос, зовущий меня, и увидев зовущих, я тотчас вскочил. Это был Колле из Бонгу с мальчиком лет 9, очень коротко обстриженным.

С большим интересом и вниманием я осмотрел его голову и даже срисовал то, что показалось мне особенно важным. Я так углубился в изучение распределения волос, что моим папуасам стало как-то жутко, что я смотрю так пристально на голову Сыроя (имя мальчика), и они поспешили объявить мне, что должны идти. Я с удовольствием подарил им вдвое больше, чем обыкновенно даю, и дал бы в двадцать раз более, если бы он позволил вырезать небольшой кусочек кожи с головы. Волосы растут, как я убедился, у папуасов не группами или пучками, как это можно прочесть во многих учебниках по антропологии, а совершенно так же, как и у нас. Это для многих, может быть, очень незначительное наблюдение разогнало мой сон и привело в приятное настроение духа.

Несколько человек, пришедших из Горенду, снова подали мне повод к наблюдениям. Лалу попросил у меня зеркало и, получив его, стал выщипывать себе волосы из усов, те, которые росли близко у губ, а также все волосы из бровей; он особенно старательно выщипывал седые волосы. Желая пополнить мою коллекцию, я принес щипчики и предложил ему свои услуги, на что он, разумеется, сейчас же согласился. Я стал выщипывать по одному волоску, чтобы видеть их корни.

Замечу здесь, что волосы папуасов значительно тоньше европейских и с очень маленькими корнями. Рассматривая распределение волос на теле, я заметил на ноге Бонема совершенно белое пятно, происшедшее, вероятно, от глубокой раны. Легкие поверхностные ранки оставляют на коже папуасов темные шрамы, а глубокие остаются долгое время, может быть навсегда, без пигмента. Кстати, ноги Бонема очень широки, около пальцев от 12 до 15 см; затем пальцы ног кривы; у многих нет ногтей (старые раны); большой палец отстоит значительно от второго.

У Дигу лицо носит следы оспы; он объяснил мне, что болезнь пришла с северо-запада и что от нее многие умерли. Когда это случилось и случилось ли раз — я не сумел спросить. Между прочим я убедился, что язык Бонгу, деревни, отстоявшей от Горенду всего на 10 минут ходьбы, имеет много других слов, как, например: камень называется в Горенду «убу», в Бонгу — «гитан», в Били-Били — «пат». У Лалу очень типический enface по узкости лба (115 мм) и ширине лица между скулами (150 мм).

*4 января.* Последние две недели дули довольно свежие (*Было: сильные; свежие вписано другим почерком и другими чернилами*) ветра, преимущественно от 10 час. утра до 5 час. пополудни; здесь они являются редкостью в октябре и ноябре месяце, почему днем теперь гораздо свежее. Ульсон уговорил меня ехать удить рыбу, но как я и ожидал, мы ничего не поймали. Жители Горенду и Бонгу занимались также рыбной ловлей; я направил шлюпку к трем ближайшим огонькам посмотреть, как они это делают. Подъехав довольно близко, я окликнул их; на пирогах произошло смятение. Огни сейчас же потухли, и пироги скрылись в темноте по направлению к берегу. Причину бегства туземцев и внезапной темноты было присутствие на пирогах женщин, которых при моем появлении поспешно высадили на берег. Я узнал об этом по донесшимся до меня женским голосам.

Они, однако ж, вернулись, и минуты через две шлюпка была окружена десятком пирога, и почти что каждый из туземцев подал мне по одной или по две рыбки, а затем они отъехали и продолжали ловлю. На платформе каждой пироги лежал целый ворох связанной в пучки длинной сухой травы (*Imperata*). Стоящий впереди пироги туземец зажигал один за другим эти пучки и освещал поверхность воды. На платформе помещался другой туземец с юром (острогой) футов 8 или 9 длины, который он метал в воду и почти

что каждый раз сбрасывал ногой с юра две или три рыбки. Часто ему приходилось выпускать последние из рук, и когда это случалось, то пирога подъезжала к юру, который плавал стоя, погруженный в воду только на четверть. Юр так устроен, что, погрузившись в воду и захватив добычу (рыбки остаются между зубьями), поднимается из воды сам и плавает, почти что перпендикулярно стоя в воде. Наконец, третий папуас управлял шлюпкой, сидя (*Было: стоя; сидя вписано другим почерком и другими чернилами*) на корме.

*11 января.* Целые пять дней подряд надоедала мне лихорадка. Не стану подробно описывать мое состояние, но это полезно знать тем, которым вздумается забраться сюда. Эти пять дней голова несносно болела, и я был очень слаб, но вместе с тем, не желая звать Ульсона, сам осторожно спускался с постели на пол, боясь упасть, если встану на ноги. Глаза и лоб заметно опухали во время пароксизма. Все эти дни я находился в каком-то забытьи и принимал хину, вероятно, не вовремя; это и было главною причиною того, что лихорадка так затянулась.

Около 12 часов пришло несколько человек из Бонгу с приглашением прийти к ним. Один из посетителей сказал мне, что очень хочет есть. Я ему отдал тот же самый кокос, который он принес мне в подарок. Сперва топором, а затем донганом (костяной нож) он отделил зеленую скорлупу ореха и попросил у меня табир (деревянное блюдо). Не имея такого, я принес ему глубокую тарелку. Держа кокос в левой руке, он ударил по нему камнем, отчего орех треснул как раз посередине; придерживая его над тарелкой, он разломил его на две почти что равные части, причем вода вылилась в тарелку. К нему подсел его товарищ, и оба, достав из своих мешков по яруру (*Cardium*), стали выскребывать ими свежее зерно ореха и выскребленную длинными ленточками массу опускать в кокосовую воду. В короткое время вся тарелка наполнилась белою кашею; начисто выскребленные половинки скорлупы превратились в чашки, а те же яруры — в ложки. Кушанье это было приготовлено так опрятно и инструменты так просты и целесообразны, что я должен был отдать предпочтение этому способу еды кокосового ореха предо всеми другими, виденными мною. Туземцы называют это кушанье «монки-ля», и оно играет значительную роль при их угощениях.

Несмотря на накрапывающий дождь, я принял приглашение туземцев Бонгу отправиться к ним, надеясь, что мне удастся осмотреть обстоятельно деревню и что знание языка уже подвинулось достаточно для того, чтобы понять объяснения многих мне еще непонятных вещей. Я предпочел отправиться в Бонгу в шлюпке. Берег около Бонгу совершенно открытый, и при значительном прибое было рискованно оставить шлюпку не вытасченную на берег, так как был прилив и ее не замедлило бы выкинуть на берег. Нашлось, однако же, большое свесившееся над водою дерево, называемое туземцами «субари» (*Callophyllum inophyllum*), к которому мы прикрепили шлюпку. Подъезжая к дереву, я бросил с кормы заменявший якорь большой камень; затем, привязав шлюпку к дереву с носа и таким образом оставив ее в полной безопасности, я мог отправиться в деревню.

Несколько туземцев, стоящих по пояс в воде, ожидали меня у борта для переноски на берег. Когда я собрался идти в деревню, один из мальчиков побежал туда возвестить, что я приближаюсь. За мною следовало человек 25 туземцев. От песчаного берега шла довольно хорошо утоптанная тропинка к деревне, которая с моря не была видна. Шагов за 5 до первых хижин не было видно и слышно признаков обитаемого места, и только у крутого поворота я увидел первую крышу, которая стояла у самой тропинки. Пройдя около нее, я вышел на площадку, окруженную десятком хижин.



В начале дневника я уже описал в общих чертах хижины папуасов. Они почти целиком состоят из крыши, имеют очень низкие стены и небольшие двери. За неимением окон они темны внутри, и единственная мебель их состоит из нар. Но кроме этих жилых частных хижин, в которых живут отдельные личности, в деревнях встречаются еще и другие постройки для общественных целей. Эти последние представляют большие сараеобразные здания, гораздо больше и выше остальных. Они обыкновенно не имеют передней и задней стен, а иногда и боковых, и состоят тогда из одной только высокой крыши, стоящей на столбах и доходящей почти что до земли. Под этой крышей по одной стороне устроены нары для сидения или спанья. Здесь же помещенная разным образом посуда хранится под крышею для общественных праздников.

Таких общественных сборных домов, род клубов (Доступных единственно для мужчин, как я узнал впоследствии), было в Бонгу 5 или 6, по одному на каждой площадке. Меня сперва повели к первому из них, а затем поочередно ко всем другим. В каждом ожидала меня группа папуасов, и в каждом я оставлял по несколько кусков табаку и гвоздей для мужчин и полоски красной бумажной материи для женщин, которых даже и сегодня туземцы куда-то попрятали; по крайней мере я не видал ни одной. Деревня Бонгу была значительно больше Горенду, раза в три по крайней мере больше последней. Как в Горенду, так и здесь хижины стояли под кокосовыми пальмами и бананами и были расположены вокруг небольших площадок, соединенных друг с другом короткими тропинками.

Обойдя, наконец, всю деревню и раздав все мои подарки, я уселся на нарах большой барлы; около меня собралось около 40 человек туземцев. Это строение имело 24 фута ширины, 42 фута длины и в середине футов 20 вышины. Крыша только на один фут не доходила до земли и поддерживалась посередине тремя здоровыми столбами. По сторонам, по три с каждой, были вкопаны также столбы в 1 м вышины, к которым была привязана или прикреплена различным образом [...] (*В рукописи здесь оставлено место для нескольких слов*) и на которые опирались главным образом стропила. Крыша была немного выгнута наружу и капитально сделана, представляя изнутри чистую, тщательно связанную решетку. Можно было положительно надеяться, что она может устоять против любого ливня и продержится около десятка лет. Над нарами, как я уже сказал, было подвешено разного рода оружие; посуда, глиняная и деревянная, стояла на полках; старые кокосовые орехи скучены под нарами. Все казалось солидным и удобным.

Отдохнув немного, осмотрев все кругом и расспросив, насколько мог, о том, чего не понимал, я направился далее, чтобы поискать, не найду ли чего-нибудь интересного. Я оставил Ульсона и одного из папуасов принимать за себя обратные подарки туземцев, которые они постепенно сносили из своих хижин в барлу и передавали Ульсону. То были: сладкий картофель, бананы, кокосы, печеная и копченая рыба, сахарный тростник и т. п. У одной барлы верхняя часть задней стенки, сделанная из какой-то коры (Которая оказалась так называемой *folium vagina* влагалищем листа (влагалищем листа *вписано Ануциным*) арековой и других пальм), была разрисована белою, черною и красною краской. К несчастью, шел дождь, и я не мог срисовать этих первобытных изображений рыб, солнца, звезд, кажется, и людей и т. п.

В одной барле я нашел, наконец, то, чего уже искал давно, а именно несколько фигур, вырезанных из дерева; самая большая из них (более 2 м) стояла среди барлы около нар, другая (метра в полтора) около входа, третья, как очень ветхая, негодная, валялась на земле. Я расположился рисовать и снять копии со всех трех, разговаривая с туземцами, которые спрашивали, есть ли такие телумы в России и как они там называются. В одной барле укрепленное довольно высоко, так что я не мог удобно рассмотреть его, висело бревно, состоящее из целого ряда человекоподобных фигур. Эта барла была такая

же, как и другие, и не представляла, кроме телумов, ничего особенного, что бы давало право считать эту постройку за храм, как были описаны аналогичные постройки в Доре и в бухте Гумбольдта в Новой Гвинее разными путешественниками .

Мне захотелось приобрести один из виденных телумов; я вынул нож и показал, что дам 2 или 3 за небольшой телум. Мне сейчас же принесли какой-то обгорелый и сломанный, которого я, однако же, не взял, ожидая, что получу лучший.

Солнце уже было низко, когда я направился к шлюпке, сопровождаемый рукопожатиями и возгласами «эме-ме». Добравшись домой и выбрав все подарки из шлюпки, оказалось, что Ульсон очень разочарован поездкою. «Мало дают, кокосы старые, рыба так жестка, как дерево, бананы зелены, да и ни одной еще женщины не видали»,— ворчал он, отправляясь в кухню доваривать бобы к обеду.

*15 января.* Ночью была гроза и ветер SW порывистый и очень сильный. Лес кругом стонал под его напором; по временам слышался треск падающих деревьев, и я раза два думал, что наша крыша слетит в море. В такие ночи спится особенно хорошо: почти что нет комаров и чувствуется очень прохладно. Около часа утра я был разбужен страшным (*Было: странным; затем первое н переправлено на ш*) треском и тяжелым падением, после которого что-то посыпалось на нашу крышу. Я выглянул за дверь, но темь была такая, что положительно ничего нельзя было разобрать, почему я снова лег и скоро заснул. Был разбужен, однако ж, очень рано шумом сильного прибоа.

Было 5 часов; начинало только что светать, и в полумраке я разглядел, что площадка перед моим крыльцом была покрыта черною массою выше роста человеческого; оказалось, что большое дерево было сломано ночью ветром и упало перед самую хижину. Когда здесь падает дерево, то оно не валится одно, а волочит за собой массу лиан и других паразитных растений, ломает иногда ближайшие деревья или по крайней мере сучья их, опутанные лианами упавшего дерева. Чтобы пробраться к ручью, надо было топором прочистить себе дорогу через зелень. Весь день прошел в очень пустых, но необходимых работах; у Ульсона была лихорадка, и он не мог подняться. Пришлось поэтому отправиться за водой, разложить костер и сварить чай, потом очистить немного площадку от поломанных ветвей, чтобы свободно ходить вокруг дома.

Сделав метеорологические наблюдения и дав лекарство Ульсону, часа на два я освободился и мог приняться за кое-какие анатомические работы. К 10 часам я принужден был, однако, оставить их, вспомнив, что нет дров для приготовления завтрака и обеда. Нарубив достаточно дров, я отправился к ручью вымыть рис, который я сварил, испекши в то же время в золе сладкий картофель. После завтрака я прилег отдохнуть; моя сиеста была прервана приходом нескольких туземцев, которые надоедали мне до 3 часов. Один из них указал мне на глубоко сидящую шлюпку; она была полна воды вследствие дождя, и невозможно было оставить ее до следующего дня в этом положении, так как ночью мог быть снова дождь и мог совершенно заполнить ее. Нехотя полуразделся, добрался до шлюпки и вычерпал не менее 23 1/2 ведер воды; занятие это с непривычки очень утомительно.

Сбросив мокрое платье, я посмотрел на часы. Было около 5 часов. Пришлось идти снова в кухню и готовить обед; варить бобы я, разумеется, и не подумал, так как на варку их требуется около 4 часов. Сварил поэтому снова рису, приготовил кёри, испек картофель и сделал чай. Провозился с этой стряпней, которая наводит на меня хандру, до 6 часов. Пообедал, да и то беспокойно: пришлось идти снять сушившееся белье, так как стал накрапывать дождь, приготовить лампу и т. д.

Даже питье чая не обходится без работы: не имею сахара уже несколько месяцев, а один чай не приходится мне по вкусу; я придумал его пить с сахарным тростником. Вооружившись ножом, я откалываю кору тростника, режу его на мелкие пластинки, кусаю их и постепенно высасываю сладкий сок, запивая чаем. Около 8 часов принялся за дневник; в 9 запишу температуру воздуха, сойду к морю, запишу температуры воды ручья и моря, посмотрю на высоту прилива, замечу направление ветра, занесу все это в журнал и с удовольствием засну.

Я описал сегодняшний день как пример многих других на тот случай, когда, позабыв подробности моей жизни здесь, я буду к досаде моей находить, что мало сделал в научном отношении в Новой Гвинее.

*17 января.* Вздумал отправиться в Бонгу, закончить рисунки телумов и изображений на стене одной барлы. Встретив Туя, который шел ко мне, я предложил ему идти со мной. Он согласился. Когда мы проходили через Горенду, к нам присоединились Бонем и Дигу. Выйдя из леса к морю, мы пошли по отлогому песчаному берегу. Был прилив, и волны набегали на отлогий берег почти что выше линии прилива, где лес образовал густую стену зелени. Не желая замочить обувь, мне приходилось выбирать моменты, когда волна откатывалась, и перебегать с одного места на другое.

Туземцы очень обрадовались случаю побегать или, может быть, пожелали узнать, могу ли я бегать, и пустились вдогонку. Желая сам сравнить наши силы в этом отношении, я поравнялся с ними, и мы пустились бежать. Туземцы поняли сейчас же в чем дело, и мало отставали; к моему удивлению, мои ноги оказались крепче, я обогнал всех; их было человек 5. все они были здоровы, молоды и, кроме пояса, совершенно голы; на мне же, кроме обыкновенного платья, были надеты башмаки и гамаша. Придя в Бонгу, я направился прямо к барле снимать рисунки, находящиеся на фронтоне ее. Кончив рисунки, я роздал туземцам несколько кусков табаку, который им все более и более нравится, и отправился походить по деревне. Хотя мое присутствие было известно всей деревне, на этот раз (кажется, первый) и женщины не убежали в лес, а только при моем приближении прятались в хижины; лиц их я не мог разглядеть, фигура же их походит на мужскую. Костюм отличается от последних, так как вместо пояса спереди и сзади на них болтаются какие-то толстые фартуки.

Когда я собрался уйти, мне принесли несколько банан и два куска мяса, вероятно, испеченного на углях и аккуратно защемленного между расщепленными палочками; один из этих кусков, назначенный для меня, оказался свиной, а другой — собачье мясо, которое просили передать Ульсону. Вернувшись домой и почувствовав хороший аппетит, я передал свинину Ульсону, а сам принялся за собачье мясо, оставив ему половину; оно оказалось очень темным, волокнистым, но съедобным. Ульсон сперва ужаснулся, когда я ему предложил собачье мясо, но кончил тем, что съел его.

Новогвинейская собака, вероятно, не так вкусна, как полинезийская, о чем свидетельствует Кук, находивший собачье мясо лучше свинины.

*25 января.* Дней шесть страдал от лихорадки, один пароксизм сменялся другим. Шел много раз дождь.

Был в Горенду за сахарным тростником. Пока туземцы сходили за ним на плантации, я сделал несколько рисунков хижин и в первый раз увидел, каким образом туземцы хранят для себя воду, а именно в больших бамбуках, как это делается и во многих местах Малайского архипелага. Узнал только сегодня, т. е. на 5-й месяц пребывания, название

слов «утро», «вечер», названия ночи еще не добился. Смешно и досадно сказать, что только сегодня узнал наверняка, как сказать по-папуасски слово «хорошо» или «хороший». До сих пор я уже два раза был в заблуждении, предполагая, что знаю это слово, и, разумеется, употреблял их. Очевидно, папуасы не понимали при этом, что я этими словами хочу сказать «хорошо». Очень трудно заставить себя понять, если слово, которое хочешь знать, не просто название предмета. Например, как объяснить, что желаешь знать слово «хорошо» (*Переделано из хороший*)?

Туземец, стоящий перед вами, понимает, что вы хотите знать какое-нибудь слово. Берешь какой-нибудь предмет, о котором знаешь, что он туземцу нравится, а затем другой в другую руку, который, по вашему мнению, не имеет для него никакой цены, показываешь ему первый предмет и говоришь: «Хорошо», стараясь при этом сделать довольную физиономию. Туземец знает, что, услышав русское слово, он должен сказать свое, и говорит какое-нибудь; потом показываешь другой предмет, делаешь кислую физиономию и бросаешь его с пренебрежением; на слово «дурно» туземец тоже говорит свое; пробуешь несколько раз с разными туземцами — слова выходят различные. Наконец, после многих попыток и сомнений я наткнулся на одного туземца, который, как я был убежден, меня понял; оказалось, слово «хорошо» по-папуасски «казь». Я его записал, запомнил и употреблял месяца два, называя что-нибудь «казь», и имел удовольствие видеть, что при этом туземцы делали довольную физиономию и повторяли «казь», «казь».

Однако же я заметил, что как будто не все понимают, что я желаю сказать «хорошо». Это случилось, однако, только на третий месяц; я стал искать поэтому случая проверить это слово. Я наткнулся, как мне казалось, в Бонгу на очень сметливого человека, который сообщил мне уже много мудреных слов. Перед нами возле хижины стоял хороший горшок и недалеко валялись черепки другого. Я взял то и другое и повторил процедуру, вышеописанную. Туземец меня понял, кажется, подумал немного и сказал два слова. Я стал его проверять, показывая на разные предметы, как то: целый и разорванный башмак, плод, годный для пищи, и другой, негодный, и спрашиваю: «Ваб»? (слово, которое он мне сказал). Он повторял «ваб» каждый раз. Наконец, думаю, узнал. Снова употреблял это слово «ваб» около месяца и опять заметил, что это слово не годится, и даже открыл, что «казь» — туземное название, значит «табак», второе же — «ваб» — означает большой горшок.

К тому же у диких племен вообще есть обыкновение повторять ваши слова. Вы говорите, указывая на хороший предмет: «Казь»; туземец вторит вам: «Казь», и вы думаете, что он понял вас, а папуасы думают, что вы говорите на своем языке, и стараются запомнить, что вы такую-то вещь называете «казь». Узнанное теперь, кажется, окончательно настоящее значение слова «хорошо» — «ауе» — я приобрел окольными путями, на что употребил ровно 10 дней. Видя, что первый способ не выдерживает критики, я стал вслушиваться в разговор папуасов между собою и, чтобы узнать слово «хорошо», стал добиваться значения «дурно», зная, что человек склонен чаще употреблять слово «дурно», чем «хорошо». Это мне удалось, но все же я не был вполне уверен, что нашел его, почему и прибегнул к хитрости, которая помогла: стал давать пробовать разные соленые, горькие, кислые вещества и стал прислушиваться к тому, что говорят пробующие своим товарищам. Я узнал, что «дурно», «скверно», одним словом «нехорошо» называется «борле». С помощью слова «борле», которое оказалось понятным для всех, я добился от Туя значения противоположного, которое есть «ауе» .

Еще комичнее история слова «киринга», которое туземцы употребляют очень часто в разговоре со мной и которое, я полагал, означает «женщина». Только на днях, т. е. по прошествии 4 месяцев, я узнал, что это слово не папуасское, а Туй и другие туземцы

убедились, что оно не русское, за которое они его считали. Как оно вкралось и каким образом произошло это недоразумение — я не знаю.

Вот почему мой лексикон папуасских слов так туго подвигается и вряд ли когда будет обширный.

Зубы начинают болеть от жевания и сосания сахарного тростника, а без него чай невкусен. Странно, что чувствую по временам какую-то потребность съесть что-нибудь сладкое.

*7 февраля.* По уговору зашел ко мне Туй часов в 6, чтобы вместе идти в Бонгу. Туй решил сегодня съесть тарелку вареного рису, и мы отправились.

От Горенду в Бонгу приходится идти у самого берега, и во время прилива, как я уже упоминал, вода обдаёт ноги.

В Бонгу я открыл еще один большой телум, который я не замедлил срисовать. В левой руке большой телум держал маленького из глины и весьма неискусной работы. Я приобрел последний за три куска табаку.

Я добивался, чтобы мне принесли черепа, но туземцы уверяли меня, что русские забрали все, показывая мне разный хлам, который они получили за них. Один из туземцев Бонгу показал мне, наконец, куст, под которым должен был находиться череп. Но ни он и никто из туземцев не хотели доставить его. Тогда я сам направился к кусту и открыл его лежащим на земле и окруженным костями свиней и собак. Туземцы отступили на несколько шагов, говоря, что это нехорошо и чтобы я его выбросил. Этот случай, как и обстоятельство, что туземцы за разные пустяки расставались с черепами своих земляков, казался мне доказательством, что черепа у них не в особенном почете. Я подумал, что приобретенный мною череп принадлежит какому-нибудь неприятелю и что поэтому его мало ценят, и спросил об этом туземцев, на что с удивлением услышал, что это был «тамо Бонгу».

Я приступил затем к закупке съестных припасов. Рыбы достал я много, потом выменял ветку созревающих банан, которую взвалил на плечи. Наконец с обоими телумами в карманах и с черепом в руках я направился домой. От тяжести и скорой ходьбы мне стало очень жарко, но затем, когда высокая вода обдавала ноги, уже раньше совершенно вымокшие, я почувствовал сильный холод, дрожь и головокружение. В Горенду я предложил Дигу донести бананы и пару кокосов. Наконец я добрался домой. Едва успел сбросить вымокшую одежду, как принужден был лечь, так как пароксизм сегодня был очень силен. Мои челюсти под влиянием лихорадки так тряслись, зубы так стучали, что мне невозможно было сказать несколько слов Ульсону, который до того испугался, думая, что я умираю, что бросился к койке и зарыдал, сокрушаясь о своей участи в случае моей смерти. Не запомню я и такой высокой температуры, не понижавшейся в продолжение почти что 6 часов.

При этом я был немало удивлен странным ощущением: при переходе из периода озноба к периоду жара я почувствовал вдруг очень странный обман чувства осязания. Я положительно чувствовал, что мое тело растет, голова увеличивается все более и более, хватает почти до потолка, руки делаются громадными, пальцы на руках становятся так толсты и велики, как мои руки, и так далее. Я ощущал при этом чувство громадной тяжести разрастающегося тела. Странно, что при этом я не спал, это не был бред, а

положительное ощущение, которое продолжалось около часу и которое очень утомило меня. Пароксизм был так силен и ощущения так странны, что я долго не забуду его.

Мои промокшие ноги и ощущение холода во время утренней прогулки не прошли мне даром.

*8 февраля.* Я принял 0,8 г. хины ночью и ту же дозу перед завтраком, и хотя в ушах страшно звенело и я был глух весь день, пароксизма не было. Сегодня погода была особенно приятная: слегка пасмурно, тепло (29° Ц), совершеннейший штиль. Полная тишина прерывалась только криком птиц и постоянной почти песней цикад. Монотонность освещения сменялась проглядывающим по временам лучом солнца. Освеженная ночным дождем зелень в такие минуты блестела и оживляла зеленые стены моего палатки; далекие горы казались более голубыми, и серебристое море блестело заманчиво между зелеными рамами; потом опять мало-помалу все тускнело и успокаивалось. Глаз также отдыхал. Одним словом, было спокойно, хорошо...

Криклявые люди также не мешали сегодня; никто не приходил. Я думал при этом, что в состоянии большого покоя (правда, трудно достижимого) человек может чувствовать себя вполне счастливым. Это, вероятно, думают миллионы людей, хотя другие миллионы ищут счастья в противоположном.

Я так доволен в своем одиночестве, встреча с людьми для меня хотя не тягость, но они для меня почти что лишние; даже общество (если это можно назвать обществом) Ульсона мне часто кажется назойливым, почему я и отстранил его от совместной еды. Каждый из нас ест на своей половине. Мне кажется, что если бы не болезнь, я здесь не прочь был бы остаться навсегда, т. е. не возвращаться никогда в Европу.

В то время, когда я прогуливался между кустами, мое внимание было обращено на одно дерево, почти все листья которого были изъедены насекомыми и покрыты разными грибами. Притом в умеренных странах я никогда не встречал таких различных форм листьев на одном и том же дереве. Рассматривая их, трудно поверить, что они все росли на одной ветке. Здешняя растительность отличается от растительности в умеренных полосах громадным разнообразием разноформенных паразитных растений и лиан, которые опутывают стволы и ветки деревьев, теряющих по удалению всех этих паразитов свой роскошный вид и кажущихся очень мизерными. Те же деревья, которые растут свободно, отдельно, как, например, у берега моря, представляют великолепные образчики растительного мира.

Я каждый день наблюдаю движение листьев, положительно замечательное. У одного растения из семейства лилий они гордо поднимаются по утрам и после каждого дождя и уныло опускаются вдоль ствола, касаясь земли, в жаркие солнечные дни. Жалеешь, что не хватает глаз, чтобы все замечать и видеть кругом, и что мозг недостаточно силен, чтобы все понимать...

*9 февраля.* Забрел утром довольно далеко. Вышел из леса по тропинке, она привела меня к забору, за которым я увидал головы нескольких знакомых жителей Горенду. Между ними были и женщины; они работали, сняв лишнюю одежду, которая вместо длинных фартуков из бахромы спереди и сзади состояла, как и у мужчин, из пояса, гораздо более узкого, чем у первых; перевязь его проходила между ногами. Как только я показался, они не замедлили скрыться за группой сахарного тростника и не показывались, пока я был на плантации.

Плантация была недавнего происхождения. Забор в рост человека, совсем новый, был сделан весьма прочно. Он состоял из очень близко друг к другу воткнутых в землю палок, собственно стволов *Sacharum konigii*; они были насажены в два ряда, отстоящие друг от друга на 20 см. Этот промежуток был наполнен всевозможными обрубками стволов, сучьев, расколотого дерева; а затем очень часто тростники, приходящиеся друг против друга, были связаны и придерживали всю эту массу хвороста. Главным образом придавало забору крепость то обстоятельство, что в непродолжительном времени после его насаждения тростник пускал корни, начинал расти и с каждым месяцем и годом становился все крепче. Калитка или ворота заменялись вырезкою в заборе так, что приходилось переступать порог фута в 2 вышины. Это мера предосторожности против диких свиней, которые могли бы забраться на плантацию.

Несколько перекрещивающихся дорог разделяли большое огороженное пространство на участки, на этих участках возвышались очень аккуратно расположенные довольно высокие полукруглые клумбы. Они имели около 75 см в диаметре, а земля, из которой они состояли, была очень тщательно измельчена. В каждой клумбе были посажены различные растения, как: сладкий картофель, сахарный тростник, табак и много другой зелени, мне неизвестной. Замечательно хорошая обработка земли заставила меня обратить внимание на орудия, служащие для этой цели; но кроме простых длинных кольев и узких коротких лопаток я ничего не мог найти.

У забора дымился небольшой костер, который главным образом служил туземцам для закуривания сигар. До сих пор я не мог открыть у папуасов никакого способа добывать огонь и всегда видел, что они носят его с собою и, придя на место, раскладывают небольшой костер для того, чтобы огонь не потух. Вечером я узнал от Туя много слов, но не мог добиться слова «говорить», никак не мог объяснить. Туй, кажется, начинает очень интересоваться географией и повторял за мной имена частей света и стран, которые я ему показывал на карте; но очень вероятно, что он считает Россию немного больше Бонгу или Били-Били.

*12 февраля.* Сегодня был счастливый день для меня. Добыл 6 хорошо сохранившихся цельных черепов папуасов, и вот каким образом. Узнав случайно, что в Гумбу много черепов, я отправился туда и приступил сейчас же к рисованию телумов, что, однако ж, оказалось неудобным по случаю темноты хижины. В других, однако ж, тоже нашлись телумы, которые были вынесены на площадку, где я их и нарисовал, после чего, раскрыв связку с подарками — гвоздями, табаком и полосками красной материи, я объявил, что желаю «тамо-гате» .

Послышались голоса, что черепов больше нет, что русские забрали все. Я остался при своем, что есть, и показал еще раз на кусок табаку, 3 больших гвоздя и длинную полоску красного ситца; это была назначенная мною плата за каждый череп. Скоро принесли один череп, немного погодя два других, затем еще три. С большим удовольствием роздал я туземцам обещанное, да еще дал каждому вместо двух три полоски красной материи. Я связал добытые черепа, прикрепив их к палке, и, несмотря на сотни муравьев, взвалил добычу на плечи. Я очень жалею, что ни к одному черепу не была дана мне нижняя челюсть, которую туземцы здесь хранят у себя и нелегко с нею расстаются. Она служит им памятью по умершем .

*14 февраля.* Сегодня в первый раз Туй принес мне испеченного таро [...] (*В рукописи оставлено место для названия*). Только что я расположился рисовать пятый череп, явились гости из дальней горной деревни; ни физиономией, ни цветом кожи, ни украшениями они не отличаются от моих соседей. Когда я им показал их физиономию в

зеркале, то надо было видеть их глуповато-изумленные и озадаченные лица. Некоторые отворачивались и потом снова осторожно заглядывали в зеркало, но под конец заморская штука им так понравилась, что они почти вырывали ее друг у друга из рук. Я выменял у одного из гостей футляр для хранения извести с весьма оригинальным орнаментом на несколько железных безделушек. По их уходе Ульсон заметил, что из нашей кухни пропал нож и что он подозревает одного из приходивших жителей Горенду. Это первая кража, сделанная туземцами, и именно вследствие этого я не могу пропустить ее и должен принять меры против повторения подобных оказий. Сегодня, однако ж, я не мог идти в деревню для обличения вора. Пришлось заняться шлюпкой, которая стала сильно течь; во многих местах оказались проточины червей. Я решил, очистив низ шлюпки, покрыть его тонким слоем смолы; для этого надо было шлюпку опрокинуть или поставить на бок, что для двоих было тяжелою работою. Мы, однако же, одолели ее.

*16 февраля.* Я был занят около шлюпки, когда пришел впопыхах один из жителей Горенду и объявил, что послан позвать меня Туем, на которого обрушилось дерево. Он рубил его, и при падении оно сильно ранило Туя в голову, и теперь он лежит и умирает. Собрав все необходимое для перевязки, я поспешил в деревню; раненый полулежал на циновке и был, кажется, очень обрадован моим приходом, и видя, что я принес с собою разные вещи для перевязки, он охотно снял ту, которая была у него на голове и состояла из трав и листьев. Рана была немного выше виска, с довольно длинными разорванными краями. Я забыл захватить с собою кривые ножницы, которые оказались необходимы, чтобы обрезать волосы около раны; большими же, бывшими со мной, я только раздражал рану. Мелко-курчавые волосы, слепленные кровью, представляли плотную кору. Сделав, что мог, я рассказал Тую и старику Буа, который пришел посмотреть на перевязку, о вчерашней краже и сообщил подозрение на одного из жителей Горенду. Оба заговорили с жаром, что это дурно, но что подозреваемый отдаст нож. Вернувшись позавтракать в Гарагасси и на этот раз захватив ножницы, корпию и т. п., я возвратился в Горенду. Около меня и Туя, которому я обмывал рану, собралось целое общество. Между прочими находился также и предполагаемый вор. Кончив перевязку, я прямо обратился к этому человеку (Макине) и сказал: «Принеси мне мой нож». Он очень покойно, как ни в чем не бывало, вытащил требуемый нож и подал мне его. Как я узнал впоследствии, это случилось по требованию всех жителей Горенду. Туя я объяснил, чтобы он лежал, не ходил бы по солнцу и не снимал перевязки. Бледность была заметна, несмотря на темный цвет лица; она выражалась в более холодном тоне цвета кожи.

Когда я уходил, Туй указал мне на большой сверток ауся и сахарного тростника, приготовленного для меня; это должен был, кажется, быть гонорар за лечение. Он не хотел взять за это табак, который я, однако же, ему оставил, не желая, чтобы он думал, что я ради гонорара помог ему. Многие жители Горенду, приходившие ко мне вечером, указывая на деревья, стоящие около дома и угрожавшие мне падением, прибавляли, что крыша моего дома нехороша, что она протекает, и предлагали переселиться к ним в Горенду, говоря, что все люди в Горенду очень скоро построят мне дом.

Что крыша плоха — это правда, так как в двух местах я могу видеть луну, просвечивающую между листьями.

*17 февраля.* Кончил рисование черепов; они все оказались *hypsistenocephali* (по Велькеру), т. е. длинно-высокоголовые. Был в Горенду; хотел перевязать рану Туя, но во всей деревне не нашел никого, за исключением трех или четырех собак; все люди были на работе или в лесу. Туй, чувствуя себя, вероятно, лучше, также ушел.



*18 февраля.* Утром, придя в Горенду, я нашел Туя в гораздо худшем состоянии, чем третьего дня; рана сильно гноилась и над глазом и даже под ним распространилась значительная опухоль. Побранив раненого за его легкомысленное вчерашнее гулянье, я перевязал рану, сказал, что он умрет, если будет ходить по солнцу, и прибавил, что увижу его вечером. Я только что расположился обедать, как прибежал Лялай, младший сын Туя, с приглашением от отца прийти обедать в Горенду; он сказал, что для меня готова там рыба, таро, аусь, кокосы и сахарный тростник. Я пообедал, однако же, дома, а затем отправился с Лялай и Лялу в деревню. Пройдя ручей, я услышал вдруг восклицание Лялу; обернувшись и спросив, что такое, я узнал, что Лялу наступил на змею, очень «борле» (дурную), от укушения которой человек умирает. Немедля я вернулся к тому месту, где Лялу указал мне на змею, спокойно лежащую поперек тропинки. Видя, что я приближаюсь к змее, оба туземца подняли крик: «Борле, борле, ака Маклай моен» (дурно, дурно, нехорошо, Маклай умрет). Чтобы овладеть животным, мне пришлось почти что отделить голову ножом, потом, подняв змею за хвост, я позвал Ульсона и отправил мою добычу домой, а сам скорым шагом (солнце уже садилось) пошел в деревню.

По обыкновению мой свисток предупредил жителей Горенду о моем приближении. Я это делал, как уже заметил прежде, чтобы женщины имели время спрятаться, зная, что мои соседи не желают показывать их мне. Не желая стеснять их, я предупреждал свистком о моем присутствии, чтобы показать, что я не подкрадываюсь и не стараюсь подсмотреть их образ жизни. Я много раз замечал, что туземцам очень нравился мой образ действий. Они видели, что я поступаю с ними открыто и не желаю видеть больше, чем они хотят мне показать. При моем свистке все женщины от мала до велика прятались в кусты или хижин. Сегодня было то же самое; пользуясь последними лучами солнца, я перевязал рану Туя и расположился около больного, вокруг которого собралось уже большое общество соседей, а также и жителей Бонгу и Гумбу.

Туй заметил, что при моем «кин-кан-кан» (название это он выдумал для моего свистка и произносил его в нос) все «нанге-ли» (женщины) убежали, но что это очень дурно, потому что Маклай — «тамо-билен» (человек хороший). При этом я услышал за собою женский голос, как будто опровергающий слова Туя, и, обернувшись, увидел старую женщину, которая добродушно улыбалась; это была жена Туя, старая, очень некрасивая женщина, с отвислыми, плоскими длинными грудями, морщинистым телом, одетая в род юбки из каких-то грязных желто-серых волокон, закрывающей ее от пояса до колен. Волосы ее висели намасленными пучками вокруг головы и опускались также и на лоб. Она так добродушно улыбалась, что я подошел к ней и пожал ей руку, что ей и окружающим туземцам очень понравилось. При этом из-за хижин и кустов появились женщины разных возрастов и небольшие девочки. Каждый из мужчин представил мне свою жену, причем последняя протягивала мне свою руку. Только молодые девушки в очень коротких костюмах хихикали, толкали друг друга и прятались одна за другой.

Каждая женщина принесла мне сахарного тростника и по пучку ауся. Все, кажется, были довольны знакомством или тем, что избавились, наконец, от стеснения прятать своих жен при моем приходе. Мужчины образовали группу около лежащего Туя, курили и разговаривали, беспрестанно обращаясь ко мне (я теперь уже много понимаю, хотя еще не много говорю). Женщины расположились в некотором расстоянии около жены Туя, занимавшейся чисткою таро. Многие из молодых женщин, как, например, жена старшего сына Туя — Бонема, были недурны собою. Лицо и тело были довольно круглы, и небольшие стоячие груди напомнили мне конические груди девушек Самоа. Здесь, как и там, девочки рано развиваются; почти что дети, они уже начинали иметь вид маленьких женщин. У девушек длинные юбки из бахромы были заменены другим костюмом, который можно сравнить с двумя фартуками, один из них закрывает заднюю, а другой —

переднюю часть тела. По сторонам верхние части ног от пояса остаются совершенно непокрытыми. Передний фартук короче заднего. У девочек моложе 12 лет фартуки эти принимают вид кисточек, из которых задняя гораздо длиннее передней и похожа на хвостик.

Подарков от женщин было так много, что двое туземцев должны были снести их в Гарагасси, куда я поспешил, потому что темнота уже наступала. Не успел я дойти домой, как ливень захватил меня.

*19 февраля.* Нашел рану Туя в худшем состоянии вследствие того, что он не может усидеть на одном месте и ходит много по солнцу. Он захотел угостить меня таро, но костер в его хижине потух. Лялай был послан за огнем, но, вернувшись минут через 10, объявил отцу, что огня нигде нет. Так как в деревне никого, кроме нас троих, не было и хижины все были плотно заложены бамбуком, то Туй приказал сыну осмотреть все хижины, не найдет ли в них где огня. Прибежали несколько девочек и вместе с Лялаем стали осматривать хижины, но огня нигде не оказалось. Туй очень досадовал, желая сварить таро, а также и покурить. Он утешал себя, говоря, что люди с поля скоро принесут огонь. Я убедился таким образом, что у моих соседей пока еще нет средств добывать огонь. Пришедшие женщины расположились около нас и с большим любопытством осматривали меня и мой костюм. Это любопытство было довольно натурально, так как они до сих пор никогда не видели меня вблизи. Я и сам осматривал их внимательно. У некоторых девочек волосы были совсем острижены, у многих смазаны золою или известью; первое — для уничтожения насекомых, второе — чтобы сделать волосы светлыми. Старухи носят их длинными, и «гатеси» (локоны на затылке), густо смазанные черною землею, висят вокруг всей головы. Пришедшие с плантации женщины и девочки принесли на спине большие мешки, перевязь которых охватывала верхнюю часть лба. Когда мешок был полон и тяжел, то они сильно нагибались, чтобы сохранить равновесие.

Как и у мужчин, носовая перегородка у женщин пробуравлена. В ушах, кроме обыкновенной дырочки для больших серег, есть еще отверстие в верхней части ушей. Через них проходит снурок, которого средняя часть перехватывает голову как раз от одного уха к другому, а на обоих свободных концах, висящих до плеч, нанизаны попарно клыки собак. Под крышей над входом в одну хижину я заметил большого жука, энергично старавшегося освободиться из петли, которая стягивала его поперек. Лялай, семилетний сын Туя, заявил, что это его жук, которого он принес, чтобы съесть, но если я хочу, то могу взять его. Жук этот был новый вид [...] (*В рукописи оставлено место для названия*) и совершенно цел, почему я и воспользовался предложением мальчика. Пока я отвязывал жука, Туй показал мне на большого паука и сказал, что жители Горенду, Бонгу и Гумбу едят также и «кобум» (т. е. пауков). Итак, к мясной пище папуасов следует причислить личинки бабочек, жуков, пауков и т. п.

*20 февраля.* Подходя поутру к хижине Туя, я издали увидел целую сходку мужчин и женщин. Последнее обстоятельство — присутствие женщин особенно удивило меня, так как обыкновенно к этому часу все женщины уже работают на плантациях.

Приблизившись к Тую, я догадался, в чем дело: весь лоб, щеки и верхняя часть шеи образовали сплошную подушку; веки так опухли, что он еле мог открывать глаза. Он едва говорил: туземцы суетились около него, думая, что Туй, пожалуй, умрет. Осмотрев больного и найдя, что вся масса флукуировала, я решился отправиться в Гарагасси за всем необходимым, чтобы делать припарки. Захватив с собою ланцет, я вернулся в Горенду, где был встречен всеми с выражениями радости. Приготовив припарки из льняного семени, я стал прикладывать их очень усердно, так что скоро без надреза

значительное количество жидкой материи вылилось через ранку на виске. Я продолжал припарки в продолжение нескольких часов, сменял их очень добросовестно.

Большое общество окружило нас в почтительном расстоянии: все расселись и разлеглись в самых разнообразных позах, описывать которые при всем желании было бы очень нелегко и все-таки не дало бы ясного представления. Главное занятие женщин и девочек было искать в куафюрах мужчин вшей, которых они раскусывали зубами и, вероятно, глотали. Я роздал сегодня женщинам по несколько полосок красной материи и по некоторому количеству бисера, который я отмеривал чайной ложкой, давая каждой по 2 ложки. Раздача женщинам шла гораздо покойнее, чем раздача чего-нибудь подобного мужчинам. Каждая получала свое и уходила, не прося прибавки, и только улыбкой и хихиканьем выражала удовольствие. Табак, кажется, понравился женщинам больше, чем остальное. За болезнью Туя жена его с женою сына приготавливали ужин для семьи и меня. Следя внимательно за приготовлением пищи, распределением и уничтожением ее туземцами, я удивлялся массе, которую папуасам приходится пожирать для существования. Не жадность, а положительная необходимость заставляет их есть так много в странах с недостаточной животной пищей. Они наедаются до того, особенно дети, что им положительно трудно двигаться.

*21 февраля.* Чувствовал себя очень скверно, но опасение ухудшения состояния Туя заставило меня отправиться в Горенду. Благодаря вчерашним припаркам опухоль была меньше и еще уменьшилась, когда я придавил ее пальцем, причем большое количество материи вылилось из раны. Вернувшись домой, мне пришлось пролежать весь день. Сегодня, когда я был в Горенду, женщин не было. Убедившись, что Туя лучше, они отправились работать на плантации, куда они уходят обыкновенно на весь день. В диком состоянии для мужчины женщины более необходимы, мне кажется, чем в нашем цивилизованном мире.

У диких женщины более работают для мужчин; у нас — наоборот; с этим обстоятельством связано отсутствие незамужних женщин между дикими и значительное число старых дев у нас. Здесь каждая девушка знает, что будет иметь мужа; они сравнительно мало заботятся о своей внешности.

*22 февраля.* Сегодня сделал интересное открытие: проходя мимо хижины одного туземца, я обратил внимание на его занятия. Перед ним стояла чаша, сделанная из большого кокосового ореха; другая с отверстием посередине — тоже скорлупа ореха — имела дно, покрытое слоем тонкой травы. Поставив вторую на первую, он из третьей налил на траву какую-то темно-зеленую густую жидкость, которая профильтровывалась в нижнюю. Когда я спросил, что это такое, он мне ответил, подавая кусок корня: «Кеу», и показал мне, что, выпив эту жидкость, он заснет.

Хотя я не видал листьев этого «кеу», но я думаю, что это не что иное, как *Piper methysticum*, или полинезийская кава. Насколько я знаю, употребление кавы туземцами Новой Гвинеи до сих пор было неизвестно.

*24 февраля.* Не найдя Туя в Горенду, я отправился на плантации, предполагая найти его там, и не ошибся. Он сидел, несмотря на палящее солнце, около работавших членов семьи. Отправив его в деревню, я остался несколько времени на плантации посмотреть на способ обработки земли. Я уже говорил выше, что плантации папуасов очень хорошо обработаны и что круглые высокие клумбы состоят из тщательно измельченной земли. Все это достигается, как я увидел, весьма просто, но с большим трудом, с помощью двух самых примитивных орудий: простого заостренного кола более 2 м длины, называемого

туземцами «удя», и узкой лопаты в 1 м длины. Вот в чем заключается процесс обработки: двое, трое или более людей становятся в ряд и вместе разом вонзают свои колья по возможности глубже в землю, потом тоже разом поднимают продолговатую глыбу земли, затем идут далее и выворачивают целые ряды таких глыб. Несколько человек, также при помощи кольев, разбивают эти глыбы на более мелкие; за ними следуют женщины, которые, вооруженные «удя-сабами» — узкими лопатами, разбивают большие комья земли, делают клумбы и даже растирают землю руками.

*26 февраля.* Достал из Гумбу еще череп и на этот раз с нижней челюстью. Видел нескольких жителей Колику-Мана, которые приглашали прийти к ним; с ними была молодая женщина, сравнительно с другими очень красивая.

*27 февраля.* Встал до света. Запасся провизией, вареными бобами и таро на целый день и отправился в Горенду, где по уговору я должен был найти Бонема и Дигу готовыми сопровождать меня.

Перевязав рану Туя, которому гораздо лучше, я спросил о Бонеме. Ответ: ушли в Теньгум-Мана. Где Дигу? Ушел с Бонемом. «Тамо борле», — сказал я. Мне было тем досаднее, что я не знал дороги в Колику-Мана. Направление было мне известно по компасу, но тропинки здесь такие капризные, что, желая попасть на S, идешь часто на N, затем, идя большими извилинами то на W, то на O. добираешься, наконец, до настоящего направления. Бывают также такие случаи: тропинка, по которой шел, вдруг кончается, перед тобою узкий, но глубокий овраг, внизу ручей на другой стороне сплошная стена зелени. Куда идти, чтобы попасть далее? Тропинка хорошо протоптана, много людей прошло здесь, но здесь ей конец. Что же оказывается? Надо при помощи свесившегося над оврагом дерева спуститься к ручью, там найти другое дерево, взобраться на один сук, почти что скрытый зеленью, перейти на другое дерево и затем пройти до известного поворота и спрыгнуть на пень уже по другой стороне оврага растущего дерева; перейдя, наконец, через этот секретный и сложный мост, тропа продолжается. Или случается, что надо подняться или спуститься по течению ручья, идя в воде шагов на 100 или 200, чтобы выйти на продолжение тропинки. Подобные загадки, встречающиеся на дорогах, заставили меня еще более досадовать на изменников.

Не желая подать виду, что меня можно водить за нос, я объявил, что сам найду дорогу. Вынул компас. Туземцы отступили шага на два, но все же могли видеть движущуюся стрелку компаса. Я посмотрел на него (более для эффекта) и очень самоуверенно выбрал дорогу, к великому удивлению папуасов, и отправился. Я решил идти в Бонгу и там найти себе спутника. Пройдя уже полдороги, я услышал за собою голоса знакомых, зовущих меня. Жители Горенду одумались, побоялись рассердить меня и прислали 2 человек. Но эти люди пришли более для того, чтобы уговорить меня не идти в Колику-Мана, а не для указания дороги. После длинных разговоров они вернулись в Горенду, а я пошел вперед. Снова слышались шаги. Это был Лако, вооруженный копьем и топором; он сказал мне просто, что пойдет со мною в Колику-Мана.

Более я ничего не желал и весело отправился по тропинке. Часто сворачивал я в сторону. Лако, шедший за мною (папуасы так недоверчивы, что не допускают, чтобы я шел за ними), указывал мне настоящую тропинку. Будь я один, я бы уже много раз сбился с пути.

Из леса вышли мы, наконец, к обрывистому морскому берегу. Внизу, футов 30 или 40 ниже, была хорошенькая бухточка. Надо было сойти вниз. Эта бухточка оказалась бы для меня задачей, подобно вышеупомянутой. Тропинка, подойдя к обрыву, сворачивала и шла на юг, в глубь леса, а мне надо было идти на SW. Лако подошел к дереву и махнул

рукою, чтобы я следовал за ним. Когда я приблизился, он указал мне на путь и сам быстро, но осторожно стал спускаться по корням дерева к морскому берегу. Я последовал по этой воздушной лестнице, которая, хотя и казалась головокружной, но в действительности была не особенно трудной. Приходилось, разумеется, держаться на руках и, висая в пространстве, искать ногами следующую опору; в случае, если бы я оборвался, то, вероятно, раздробил бы себе череп. Внизу, пройдя минут 5 по берегу, мы опять вошли в лес. Послышался снова вдали крик. То были те же люди из Бонгу (*Возможно, в рукописи неточность. Скорее Горенду. Хотя можно допустить, что жители Горенду прислали находившихся у них бонгуанцев. Лако — житель Бонгу (см. запись от 7 апреля 1872 г).*). Мы подождали немного, пока они присоединились к нам с заявлением что пойдут со мной в Колику-Мана. Сначала лесом, затем в брод через два ручья, потом через небольшую речку Теньгум. Мы спустились по ней к морскому берегу; перешли затем еще две речки. Вода речек была сравнительно очень холодна (25,5° Ц) и контрастировала очень неприятно с температурой горячего песка морского берега, уже накаленного солнцем до 39° Ц, хотя было всего 8 1/2 часов утра.

Пройдя еще с полчаса берегом, мы остановились у двух больших деревьев, откуда тропинка вела в лес; это место, оказалось, служит постоянным привалом путников в Колику-Мана, которое, однако ж, скоро заменилось поляною, покрытою высокой травой в рост человека. Эта трава покрывает все плоские и отлогие места в окрестностях и называется туземцами «унан»; она так густа и жестка, что без тропинки почти невозможно пробраться даже на короткое расстояние.

Солнце давало себя чувствовать. Пересекавшие иногда поляны участки леса приятно действовали своею прохладой. Мы незаметно поднимались в гору, но опять пришлось спуститься в глубокий овраг, внизу которого стремительно бежала речка. Нависшие с обеих сторон деревья образовали свод над нею; она напомнила мне сицилианские фьюмары (*Бурные потоки, полноводные реки (от ит. fiumara, fiumana)*). Дно ее было как бы вымощено камнями, и вода, не более 1 фута глубины, со своеобразным ропотом неслась к морю. Все речки этого берега имеют горный характер, очень крутые склоны, что объясняет их стремительность; и при дожде в несколько часов они делаются совершенно непроходимыми, с шумом и пеною катя вниз большие камни, роя берега и неся оборвавшиеся или поломанные деревья.

Поднявшись на другую сторону, тропинка вела все в гору и почти все время лесом. У последнего дерева Лако показал мне первые хижины Колику-Мана. Ряд открытых холмов тянулся к главному хребту. По ним в некоторых местах можно было различить черную линию тропинки, которая вела выше и выше. Тропинка оказалась крутою, скользкою от бывших недавно дождей. Солнце пекло сильно, но виды по обе стороны были очень хороши.

Мы прошли вдоль забора очень обширной плантации, расположенной на скате холма. Можно было подивиться предприимчивости и трудолюбию туземцев, взглянув на величину ее и тщательную обработку земли. У забора рос сахарный тростник, и моим спутникам захотелось потешиться. Мы остановились; сопровождавшие меня туземцы прокричали что-то; им ответил женский голос, который скоро приблизился. Тогда мои спутники стали передо мной на возвышенном крае тропинки и совсем закрыли меня. Между тростником я увидел скоро приближавшуюся молодую женщину; когда она подошла к забору, говорившие с нею туземцы быстро расступились, и перед нею стоял я. Сильнейший ужас изобразился на лице папуаски, никогда еще не видавшей белого; полуоткрытый рот испустил протяжное выдыхание, глаза широко раскрылись и потом

редко и конвульсивно заморгали, руки ухватили судорожно тростник и удерживали откинутую назад верхнюю часть туловища, между тем как ноги отказывались служить ей.

Спутники мои, довольные эффектом своей шутки, стали объяснять ей, кто я; бросив ей кусок красной материи, я пошел далее.

Тропинка становилась все круче. Наконец показалась первая кокосовая пальма, а затем крыша туземной хижины. Минуты через две я был на площадке, окруженной 6 или 7 хижинами. Меня приняли двое мужчин и мальчик, к которому присоединилась старая, очень некрасивая женщина. Мои спутники очень заботились о том, чтобы жители Колику-Мана получили хорошее впечатление обо мне. Насколько я мог понять, они расхваливали мои качества: исцеление раны Туя, говорили о разных диковинных вещах в моем «талъ» и т. п.

Отдохнув и роздав табак мужчинам, а тряпки женщинам, я принялся рассматривать местность кругом и хижины. Площадка, на которой мы расположились, была вершиной одной из возвышенностей хребта и окружена густо растительностью и десятком кокосовых пальм, так что только в двух или трех местах можно было видеть окрестную местность. Вид на N был особенно хорош: зеленые холмы на первом плане, цепь зеленых гор, а за ними оригинальный контур пика Константина; внизу блестящее море с островами. На S и на SO был целый лабиринт гор и холмов, покрытых лесом. Некоторые скаты были зеленого цвета, именно те из них, которые были покрыты не лесами, а унаном (*Imperata*).

Хижины не особенно отличались от характера хижин береговых деревень; они были, однако же, меньше, вероятно, вследствие небольшого пространства на вершине и трудности переноски строительного материала.

Собравшиеся вокруг меня туземцы не представляли различия от берегового населения, по внешности они отличались тем, что носили гораздо меньше украшений. В буамрамре я нашел телум, которого нарисовал; потом пошел к следующей группе хижин, а затем к третьей, которая стояла отдельно, выше двух остальных и куда пришлось лезть по крутой тропинке.

Пока для меня и моих спутников готовили обед, я стал спрашивать о маб (вид *Cuscus'a*), который, по уверениям береговых жителей, очень часто встречается в горах. Мне принесли только обломанный череп одного и нижние челюсти двух других маб.

Нам подали, наконец, 2 табира: один для меня, другой для моих спутников. После прогулки все показалось мне отлично сваренным. Когда мы принялись за еду, все туземцы вышли на площадку и оставили меня и моих спутников одних. Некоторые из туземцев занялись приготовлением кеу. Поданное мне блюдо было огромно, и я, разумеется, не съел и одной четверти содержимого; несмотря на мое возражение, все оставшееся было завернуто в банановые листья, чтобы кушать это «мондон» (потом), а пока повешено в буамрамре.

В одном месте, где деревья расступались, можно было видеть окрестности на SO, где мне, между прочим, указали положение деревень Энглам- и Теньгум-Мана, куда я собираюсь отправиться. Все туземцы были очень предупредительны, и когда я собрался идти, из каждой хижины хозяйкою ее было вынесено по несколько аян (*Dioscorea*), которые были положены мне к ногам.

Уходя, я пригласил туземцев в Гарагасси.

Был час четвертый, и солнце все еще сильно пекло; особенно утомительна была дорога вниз по открытым холмам; в тени же леса было очень сыро и прохладно. Выйдя к морю и охваченный ветром, мне показалось очень холодно (*Было: сыро*), почему я, несмотря на усталость, прибавил шагу, но все-таки от пароксизма лихорадки не увернулся. Пришед в Бонгу, не говоря ни слова, я отправился в одну из больших хижин, стащил мокрую обувь, растянулся на барле и скоро заснул. Проснувшись ночью и чувствуя себя вполне здоровым, я решил идти домой, что было возможно по случаю прекрасной лунной ночи.

28 февраля. Отправился в Гумбу, надеясь набрать там еще несколько черепов. Я не спешил, чувствуя еще некоторую усталость от вчерашней прогулки. Добравшись до тропинки, направляющейся в деревню, я присел отдохнуть и полюбоваться морем. Мое раздумье было прервано появлением туземца, который бежал по берегу. Держа в левой руке над головою лук и стрелы, с каменным топором, висевшим на плече, он бежал весьма быстро и по временам правою рукою делал какие-то знаки. Вышедшие ко мне навстречу жители деревни при виде бегущего о чем-то оживленно заговорили и еще более оживились, когда за первым бегущим последовал второй, третий, четвертый. Все бежали скоро, ровно и, казалось, с важным известием. Трудно было не любоваться ими: так легко, свободно они двигались вперед. Я сидел на своем месте; первый, не останавливаясь, пробежал мимо нас прямо в деревню. Хотя он и не остановился, но выразительной мимикой сказал новость, которую бежал сообщить деревне. Поравнявшись с нами, он ударил правой рукой себе в грудь, закинув на сторону голову и высунув немного язык (жест, которым папуасы выражают обыкновенно смерть, убийство или что-нибудь подобное); он крикнул: «Марагум — Горенду!». Второй последовал за ним; окружавшие меня туземцы побежали также в деревню; я сам направился туда же.

Не дойдя до первых хижин, услышали мы ускоренные удары барума; эти удары были другого tempo, чем обыкновенно. Из хижин было вынесено большое количество разного рода оружия. Не понимая, в чем дело, но видя общее смятение, я почти что силою остановил одного из бежавших в Гумбу туземцев и узнал от него новость: люди Марагум напали на Горенду, убили нескольких, в том числе и Бонема, затем отправились на Бонгу, но придут, вероятно, и в Гумбу и в «таль Маклай».

Марагум-Мана — большая деревня, с которою мои соседи уже давно в неприязненных отношениях. Я припомнил, что в Горенду уже несколько недель около хижин лежала постоянно наготове куча стрел и копий, так как жители все ожидали нападения со стороны горцев. В Гумбу царствовало общее смятение, которое невольно подействовало и на меня. Мужчины громко разговаривали с большим жаром, другие приготавливали оружие, женщины, дети и собаки кричали и выли.

Я направился скорым шагом домой, мысленно браня тревогу и глупых людей, мешающих моей покойной жизни. Несколько слов о происшедшем, сказанных Ульсону, привели его в сильную тревогу. Он попросил приготовить шлюпку на случай, если «Марагум-Манатамо» оказались бы слишком многочисленными, и сказал (сказал *вписано Анучиным*), что если нам не удастся отстоять хижину, мы можем перебраться в Били-Били. Чтобы успокоить его, я согласился, но сказал, что переносить что-либо в шлюпку еще слишком рано и что первый выстрел так озадачит туземцев, что навряд ли они сунутся, чтобы испытать действие на них дробы, которая почти наверно разгонит их. Я, однако ж, зарядил мои ружья и решил обождать их прихода, спокойно растянувшись на койке. Я весьма скоро заснул, зная очень хорошо, что Ульсон, будучи сильно возбужден, не проспит прихода гостей.

Знаю, что заснул очень крепко и спал хорошо. Был разбужен криками и шумом в лесу. При этом я услышал изменившийся голос Ульсона: «Вот они! Пусть господин теперь приказывает, я все буду делать, что он скажет, а то я не буду знать, что делать»,— говорил он на своем ломаном шведско-немецком языке. Я приказал ему загородить ящиками его дверь, самому же оставаться в доме и заряжать ружья и револьверы, которые я ему буду передавать по мере надобности; при том постараться, чтобы руки его не так тряслись. Пока мы приводили все в осадное положение, крики и шум в лесу приближались. Я вышел на веранду, положив перед собою два револьвера и ружье-револьвер. Двуствольное ружье, заряженное мелкою дробью, я держал в руках. Между деревьями за ручьем показались головы. Но что это? Вместо копий и стрел я вижу кокосы и бананы в руках приближающихся. Это не могут быть люди из Марагума.

Действительно, то были жители Бонгу, которые пришли мне сказать, чтобы я не беспокоился о Марагум-тамо, и рассказали мне причину тревоги. Утром сегодня женщины Бонгу, выйдя на работу далеко в поле, заметили на холмах несколько незнакомых вооруженных людей; им показалось, что эти люди стараются окружить их, и некоторым из женщин почудилось, что вооруженные люди направляются в их сторону и приближаются. Они с криком бросились бежать; те, которые были впереди, услышав шаги бегущих за собою, убедились, что за ними гонятся, стали еще более кричать и направились к плантации, где работали несколько мужчин. Последние, увидав скоро, что все это была ложная тревога, стали бить своих жен, чтобы заставить их замолчать, достигли, однако же, противного. Жены и дочери их подняли такой гвалт, что вдалеке проходившие люди Гумбу не могли более сомневаться, что люди Марагум-Мана бьют и убивают жителей Горенду, потому кинулись бежать к Гумбу, где уже рассказали слышанную мною повесть о нападении на Горенду, смерти Бонема и т. д. Они прибавили, что люди, виденные женщинами Бонгу, могли быть действительно жителями Марагум-Мана, и поэтому все-таки опасаются нападения.

Моим соседям очень понравилось обстоятельство, что и я приготовился принять как следует неприятеля, и просили позволения прислать своих женщин под мое покровительство, когда будут ожидать нападения горцев. Я подумал, что это удобный случай познакомить моих соседей с огнестрельным оружием. До сих пор я этого не делал, не желая еще более возбуждать подозрительность и недоверие туземцев; теперь же я мог им показать, что в состоянии действительно защитить себя и тех, кого возьму под свое покровительство. Я приказал Ульсону принести ружье и выстрелил. Туземцы схватились за уши, оглушенные выстрелом, кинулись было бежать, но остановились, прося спрятать ружье скорее в дом и стрелять только тогда, когда придут Марагум-тамо. Ружье туземцы назвали сегодня «табу», вследствие того, кажется, что с первого дня моего пребывания здесь все недозволенное, все, до чего я не желал, чтобы туземцы дотрагивались или брали в руки, я называл «табу», употребляя полинезийское слово, которое таким образом ввелось в употребление здесь

*1 марта.* Приходили люди Гумбу просить меня идти с ними и жителями Горенду и Бонгу на Марагум, говоря, что будут делать все, что я прикажу, и прибавляя, что, услышав о приближении Маклая, жители деревни Марагум убегают дальше в горы.

Пришли также жители Колику-Мана, а с ними Туи и Лялу. Все говорили о Марагум и хором прибавляли, что теперь, когда Маклай будет с ними, Марагум-тамо будет плохо.

Такое распространяющееся мнение о моем могуществе мне не только не лестно, но в высшей степени неприятно. Чего доброго, придется вмешаться в чужие дела; к тому же такие штуки нарушают мою покойную жизнь лишним шумом и тревогою.



Пошедший вечером дождь заставил меня опять отложить поездку в Били-Били.

Сидя в шалаше у костра, я занимался печением на углях ауса и банан себе на ужин и наслаждался тишиною ночи, когда мой слух внезапно был поражен сильными, затем учащенными ударами барума в Горенду. Одна и та же мысль мелькнула в голове у меня и у Ульсона: люди Марагум нападают на жителей Бонгу и Горенду, откуда стали доноситься протяжные звуки каких-то нестройных инструментов. Это обстоятельство, как и то, что бессонницей делу не поможешь, заставили меня лечь спокойно спать и не прислушиваться к фантастическим звукам, долетавшим из деревни.

2 марта. Ночью сквозь сон несколько раз слышал звуки барума, звуки папуасских музыкальных инструментов и завывания самих туземцев. Около половины пятого утра послышалось сквозь сон, что кто-то зовет меня. Я вышел на веранду и разглядел в полумраке Бангума (*Правильнее: Вангума*) из Горенду, который пришел позвать меня от имени всех туземцев, жителей Горенду, Бонгу и Гумбу, на их ночной праздник. Я, конечно, согласился, оделся второпях и мы пошли, вследствие темноты часто спотыкаясь о корни и лианы.

На первой площадке Горенду я был встречен Туем, весьма бледным от бессонной ночи. Он попросил перевязать его рану, которая все еще сильно беспокоила его. Когда я кончил, он указал на тропинку, которая из деревни вела между деревьями к морю, и прибавил: выпей «кеу» и покушай «аяна» и «буам». По тропинке пришел я к площадке, окруженной вековыми деревьями, на которой расположились человек 50 туземцев. Открывшаяся картина была не только характеристична для страны и жителей, но и в высшей степени эффектна. Было, как я сказал, около 5 часов утра. Начинало светать, но еще лес покоился в густом мраке. Площадка была с трех сторон окружена лесом, а переднюю представлял обрывистый морской берег; но и эта сторона не была совершенно открыта. Стволы двух громадных деревьев рисовались на светлой уже поверхности моря. Мелкая растительность и нижние сучья этих двух деревьев были срублены, так что прогалины между ними казались тремя большими окнами громадной зеленой беседки среди леса.

На первом плане, вблизи ряда костров, группировалась на циновках и голой земле вокруг нескольких больших табиров толпа туземцев в самых разнообразных позах и положениях. Некоторые, стоя, закинув голову назад, допивали из небольших чаш последние капли кеу; другие, уже с отуманенными мозгами, но еще не совсем опьяненные, сидели и полулежали с вытаращенными, неподвижными и мутными глазами и глотали зеленый напиток; третьи уже спали в разнообразнейших позах (лежа на животе, другие на спине с раскинутыми руками и ногами, третьи полусидели с головами, низко склонившимися на грудь). Между тем как некоторых одолела бессонная ночь и кеу, другие, сидя вокруг табиров с аяном и буамом, весело болтали. Были еще и такие, которые хлопотали около больших горшков с варящимся кушаньем. Несколько, вероятно, отъявленных любителей папуасской музыки, подняв высоко над головою или прислонив к деревьям свои бамбуковые трубы, более чем в 2 м длины, издавали протяжные завывающие громкие звуки; другие, дуя в продолговатый, просверленный сверху и сбоку орех, производили очень резкие свисткообразные звуки. Кругом к стволам деревьев были прислонены копья; луки и стрелы торчали из-за кустов. Картина была в высшей степени своеобразна, представляя сцену из жизни диких во всей ее первобытности,— одна из тех, которые вознаграждают путешественника за многие труды и лишения. Но и для художника картина эта могла бы представлять значительный интерес своим разнообразием поз и выражений толпы здоровых, разного возраста туземцев, странностью освещения первых лучей утра, уже золотивших верхние ветви зеленого свода, и красного отблеска костров.

Я погрузился в рассматривание новой для меня картины. Мой взгляд переходил от одной группы к другой, от окружающей обстановки к спокойному, серебрившемуся морю и далеким горам, по которым разливался розовый свет восхода. Мне жаль было, когда несколько знакомых голосов, приглашавших присесть к ним, оторвали меня от наблюдений и созерцания. (Я часто в моих путешествиях желал и желаю быть единственно зрителем, наблюдателем, а не участником происходящего).

Завтрак должен был быть сейчас готов, что было возведено усиленным завыванием бамбуковых труб, причем я ощутил всю неприятность этих раздражающих ухо звуков.

Скоро собралось значительное число жителей трех деревень — Бонгу, Горенду и Гумбу. Они накинудись на кушанья, принесенные в табирах очень большого размера. Из одного табира мне было положено в свежее-отколотую половину кокосовой скорлупы немного желтовато-белой массы, предложенной мне с уверениями, что это очень вкусно. То был буам (саго, приготовленный из саговой пальмы) с наскобленным кокосовым орехом. Это папуасское кушанье имело действительно приятный вкус.

Затем меня угостили хорошо сваренным аяном, который надо было есть сегодня с так называемым орланом [...] (*В рукописи оставлено место для названия*), но этот кислый соус имел такой острый запах, что я отказался от него. Скатертью служили нам банановые листья, посудой, т. е. тарелками и чашами, — скорлупа кокосовых орехов, вилками — обточенные бамбуковые палочки, заостренные кости, а многие пускали в ход свои гребни (на папуасском языке вилка и гребень — синонимы), ложками — туземные яруры. Было оригинально видеть это разнообразие орудий, которые употребляются здесь при еде.

Уже совсем рассвело, и, рассматривая окружающих, я везде встречал знакомые лица из соседних деревень. Когда я поднялся, чтобы уйти, мне был дан целый сверток вареного аяна и послышались приглашения прийти обедать. Уходя, я должен был посторониться, чтобы дать пройти процессии, которая несла припасы для продолжения праздника. Туй с Бонемом принесли на палке большой сверток буама, тщательно обвернутый листьями; за ними несколько туземцев несли кокосы, а другие пронесли также повешенную на палке, лежащей на плечах двух носильщиков, большую корзину аяна, за нею другую и третью. Дальше 6 туземцев (6 туземцев *в рукописи вынесено в сноску*) несли трех свиней, крепко привязанных к палкам, концы которых лежали у них на плечах. Эта процессия подвигалась с некоторою торжественностью; припасы раскладывались по порядку на известных местах площадки. Гости из других деревень осматривали и считали принесенное, делая свои замечания; все это должно было быть съедено за обедом, которым заканчивалось угощение, начавшееся накануне вечером.

Не зная наверно, приду ли я к обеду, за мною пришли несколько туземцев, чтобы снова звать меня в Горенду. Пришлось опять вернуться в деревню, что я и сделал, запасшись обещанным табаком; по дороге я был остановлен женщинами трех деревень: дай им табаку!. Пришлось дать. Женщины не принимают непосредственного участия в этих папуасских пиршествах; они едят отдельно и служат только при чистке съестных припасов; для них, как и для детей, доступ на площадку воспрещен. Так было и в Горенду. Мужчины пировали в лесу, женщины и дети расположились в деревне и чистили аян. На площадке сцена была очень оживлена и имела иной характер, чем утром. На одной стороне на циновках лежали куски распластанных свиней; кроме нескольких ножей, обмененных у меня, туземцы резали мясо бамбуковыми ножами и, кроме того, своими костяными донганами, отделяя мясо по мускулам, а затем очень искусно рвали его руками.

Другая сторона площадки была занята двумя рядами бревен, положенных параллельно; на них были поставлены большие горшки, фута 1 1/2 в диаметре; таких горшков я насчитал 39; далее стояли, также на двух бревнах, 5 горшков еще большего размера, в которых варился буам. В середине площадки очищали буам от листьев и других нечистот и скребли кокосы. Жители Горенду как хозяева разносили воду в больших бамбуках и складывали дрова около горшков. Я пришел как раз в то время, когда шел дележ мяса; оно лежало порциями, нарезанное или оторванное руками от костей. Туй громко вызывал каждого гостя, называя его имя и прибавляя «тамо» (человек) такой-то деревни. Названный подходил, получал свою порцию и шел к своему горшку (для каждого из гостей пища варилась в особенном горшке). Не успел я сесть около одной группы, как раздался голос Туя: «Маклай, тамо-русс». Я подошел к нему и получил на зеленом листе несколько кусков мяса .

Услужливый знакомый из Бонгу указал мне, где стоял для меня назначенный горшок, и так как я остановился в раздумье перед ним, не особенно довольный перспективой заняться варкой своей порции, как это делали все гости, то мой знакомый, догадавшись, что мне не хочется варить самому, объявил, что он сделает это для меня, и сейчас же принялся за дело. Он сорвал с соседнего дерева 2 больших листа и положил их крест-накрест на дне горшка; затем вынул из стоящей большой корзины несколько кусков очищенного аяна и положил вниз, а сверху куски свинины. Его сменили двое других туземцев, которые наполняли поочередно все горшки аяном: один, стоя с полною корзиною по одну сторону ряда горшков, другой же — по другую, наполняя их как можно плотнее аяном.

Когда у всех гостей были приготовлены таким образом горшки, жители Горенду, которые, будучи хозяевами, приняли на себя роль слуг, вооружились большими бамбуками, наполненными морской и пресной водою, и стали разливать воду в каждый горшок, причем морской воды они лили приблизительно 1/3, доливая 2/3 пресной. Каждый горшок был прикрыт сперва листом хлебного дерева, а затем «гамбою» ; это опять было сделано одним из молодых людей Бонгу, который затем стал разводить огонь под горшками. Все это делалось одно за другим, в большом порядке, как бы по установленному правилу; то же самое случилось и при разведении громадного костра, на котором должно было вариться кушанье. Этот костер был не менее 18 м длины и 1 м ширины. Топливо было так хорошо расположено под бревнами, на которых стояли горшки, что оно скоро вспыхнуло.

Я направился к другим группам. В одной несколько туземцев скребли кокосовый орех, усердно работая своими ярурами, сохраняя начисто выскобленные половинки скорлупы. Наскобленный кокосовый орех назначался для буама, который варился в особенных больших горшках. Около другой группы лежали разные музыкальные инструменты, которые без различия называются папуасами «ай». Главнейший состоит из бамбука, метра в 2 и более длины; он хорошо очищен и перегородки внутри уничтожены; один конец этих длинных труб папуасы берут в рот, растягивая значительно губы, и, дую или, вернее, крича в бамбук, издают пронзительные, протяжные звуки, немного похожие на завывание собак; звук этих труб можно слышать за полмили.

Другой инструмент, называемый «орлан-ай», состоит из ручки, к которой прикреплено много шнурков с нанизанными на них скорлупами орлана. Держа ручку и потрясая инструментом, туземцы производят такой звук, как будто кто трясет большими деревянными четками. Затем — «монки-ай», пустая скорлупа кокосового ореха с отверстием наверху и с другим сбоку, которые попеременно закрываются пальцем. Приложив к губам и дую в верхнее отверстие (отверстие не вкладывается в рот, а в него дуют сверху), производят резкий звук, который варьируется вследствие открывания и

закрывания бокового отверстия, а также и величины кокосового ореха. Было еще несколько других инструментов, но три описанных были главные. Участники этого папуасского пиршества, отрываясь на минуту от работы, принимались за какой-нибудь из описанных инструментов и старались показать свое искусство на одном из них по возможности более оглушительным образом, превзойти, если можно, все предшествовавшие ушираздирающие звуки.

Я отправился в деревню посмотреть, что там делается. Женщины все еще чистили аян, по временам отщепливая внутренние слои бамбуковой пластинки, которая служила им вместо ножа, вследствие чего край пластинки снова делался более острым. Что эти туземные ножи режут очень хорошо, я убедился сам, накануне вырезав себе, вовсе не желая того, из пальца кусок мяса. В деревне было жарко, гораздо меньше тени, чем в лесу, и уставшие от работы женщины пристали ко мне за табаком. Так как мужчин нигде не было видно, то они были гораздо менее церемонны, чем обыкновенно, в присутствии их мужей, отцов и братьев. Доступ женщинам на площадку, где пировали мужчины, как и мальчикам до операции «мулум», после которой они считаются уже мужчинами, строго воспрещен.

Я вернулся на площадку, где готовился наш обед. Несколько туземцев из стариков принялись за приготовление кеу. Процедуру эту я опишу здесь подробнее.

Несколько раз в продолжение дня я замечал, что туземцы, обращаясь ко мне, называют меня Туй, а Туя — Маклаем. На мое замечание, что я Маклай, а не Туй, один из туземцев объяснил мне, что я так заботился о Туе во время болезни, что исцелил его, — Туй готов решительно все делать для меня; мы теперь такие друзья, что Туй называется Маклай, а Маклай — Туем.

Значит, и здесь, в Новой Гвинее, существует обычай передачи имен, подобно как и в Полинезии.

Жара, а особенно оглушительная музыка имели результатом сильнейшую головную боль, и я сообщил Туе, что отправляюсь домой. Как раз кушанье в моем горшке было готово, и меня не хотели отпустить, не дав мне его с собою. Его положили в корзину, обложенную внутри свежими листьями хлебного дерева. Моя порция была так велика, что тяжесть ее равнялась той, которую может нести рука человека. Я пожалел тех, кому предстояло набить свои желудки даже половиною того, что я отнес домой в руках.

*3 марта.* Пришедший Туй, заметя около кухни пустую корзину, в которой я вчера принес свою порцию из Горенду, привязал ее к одной из ветвей дерева около хижины, сказав мне, что если кто спросит, откуда это, я бы отвечал: «Буль (свинина) и аян от Туя в Горенду». Таким образом я узнал значение корзин разной величины, висящих на деревьях в деревнях. Я не раз спрашивал, зачем они там висят, на что мне отвечали имя какой-нибудь деревни.

*4 марта.* Заперев палками, гвоздями и веревками обе двери моей хижины и укрепив перед каждою пальмовую ветвь, одним словом, заперев их совершенно а la rароиа, т. е. так, как делают туземцы, я поднял около 12 часов ночи якорь и направился в Били-Били, островок, отстоящий отсюда миль на 15.

Я рассчитывал добраться туда при помощи берегового ветра и вернуться, пользуясь обыкновенно дующим днем NW, к вечеру сегодняшнего же дня. Береговой ветерок действительно потащил нас вперед, хоть и медленно; к тому же спешить было некуда,

перед нами была еще почти вся ночь. К рассвету ветерок посвежел, и мы пошли скорее. Поднявшееся солнце осветило интересную для меня картину гор, которые на этом расстоянии кажутся очень высокими. Я старался рассмотреть конфигурацию гор и запомнить, в каких местах можно было с меньшими препятствиями проникнуть далее. За Мале, не доходя Богати, береговой хребет как бы расступается. Солнце совсем поднялось, и ветер стал спадать; наступил, наконец, полный утренний штиль перед NW, который начинает задуть около 8—9, а иногда только 10 часов утра. Пришлось грести, что было довольно утомительно после ночи, проведенной без сна. Мы, наконец, приблизились к юго-восточному берегу островка, состоявшего из поднятого кораллового рифа и о который бил прибой. Высыпавшие туземцы, узнав меня, весело бежали по берегу и показывали мне, что следует обогнуть остров. Вскоре открылась и деревня. На песчаный берег были вытащены большие пироги, и так высоко, что казалось — они стояли в самой деревне. Между ними возвышались высокие крыши хижин, за которыми в свою очередь высились ряды кокосовых пальм, светлая зелень которых выдавалась на темно-зеленом фоне остального леса.

Когда мы подошли ближе к песчаному берегу, шлюпка моя была мигом подхвачена десятками рук и скоро вытащена на отлогий берег. Оставив Ульсона в шлюпке при вещах, я отправился в деревню, сопровождаемый почти что всем мужским населением. Не видя женщин, желая также познакомиться с ними, а главное — желая избавить их от затруднения прятаться при моем приближении, что было бы стеснением для нас всех, я настоял, чтобы они сами вышли получить подарки, которые я намеревался им дать. Каин, одна из влиятельных личностей деревни, который уже не раз бывал в Гарагасси и знал диалект Бонгу, узнав от меня, что женщины Гумбу, Горенду, Бонгу и других деревень более от меня не прячутся, уговорил и жителей Били-Били согласиться на мое желание. Тогда на зов мужчин из хижин вылезли несколько старух, почти совсем голых некрасивых существ. Мне объяснили, что большинство женщин на плантациях, на материке, но что они скоро вернутся.

Раздав мужчинам табак, а женщинам тряпки и бусы, я пожелал посмотреть на их телумы. Меня повели к одной хижине, но в ней было так темно, что пришлось уговорить туземцев вынести телум из хижины. Это был первый телум, изображавший женскую фигуру. Нарисовав его, мы направились в довольно обширную буамрамру, стоящую посередине деревни. Четыре угловых столба были вырезаны в виде телумов. Нарисовав и их в мой альбом, я обошел всю деревню. Вышел также на противоположный берег острова. Вид оттуда был великолепный, к сожалению, однако ж, все вершины гор были покрыты клубами облаков.

Когда я вернулся в деревню, меня окружили женщины и девушки, только что вернувшиеся с плантаций. Все они громко просили бус и красных тряпок, которые они видели у старух, получивших их от меня утром. У женщин украшений из раковин и собачьих зубов было гораздо больше, чем в деревнях на материке, но зато костюм их был короче и воздушнее. У девочек моложе 13 лет он ограничивался очень небольшой кисточкой спереди (закрывающей *mons Vejeietis*) и более длинной сзади. К поясу, который придерживал кисточки, по обеим сторонам были привешены украшения из раковин, больших черных и красных зерен, которые лежали по сторонам сзади, на ягодицах. Уши были пробуррованы во многих местах. Женщины на островке Били-Били очень деятельны: на них лежит приготовление или выделка горшков, которые развозятся и вымениваются их отцами или мужьями в береговых деревнях.

Перед отъездом я хотел напиться, почему спросил кокосовых орехов. Мне принесли несколько таких, которые туземцы называют «пиу». Я записал слов 15 или 20 диалекта

Били-Били, который оказался весьма отличным от языка моих соседей, хотя некоторые слова встречаются одинакие. Многие жители Били-Били, однако ж, знают диалект Бонгу.

Шутя я сказал, что, может быть, я перееду жить в Били-Били. Эти слова были подхвачены, и жители острова с восторгом (скорее поддельным, чем истинным) стали повторять, что Маклай будет жить в Били-Били, что Били-Били лучше, чем Бонгу, и т. д. Когда я собрался ехать, пошел сильный дождь, и я решил остаться ночевать в Били-Били, к видимому удовольствию жителей.

Оставить вещи в шлюпке нельзя было по случаю дождя, почему я попросил указать мне место, где я мог бы провести ночь. Мне предложили хижину или каюту одной из вытасненных на берег больших пироги. Эти пироги заслуживают внимания своею постройкою, почему я их здесь опишу. Сама пирога отличается от малых единственно своими размерами. Длина некоторых из них приблизительно около 10 или 12 м, и они (как и малые) выдолблены из одного толстого ствола; но для того чтобы пирогу не так легко заливало, к обоим краям выдолбленного ствола «пришиты» по длинной планке или две, одна на другой. Я сказал, что на каждой доске пришиты, потому что через каждые 1/2 м расстояния в крае пироги (в стволе), а также в планке сделано по соответственному отверстию, через которое проходит гибкий, тонкий ствол, связывающий планку с самой пирогой. Щели и промежутки, оставшиеся в отверстиях, законопачиваются разбитою и вымоченною в воде древесиною какого-то дерева. Нос и корма кончаются высокою, иногда выгнутою доскою с различною резьбою. На одной стороне находится вынос, прикрепленный к пироге двумя поперечными перекладами. Размеры выноса относительно длины пироги можно видеть на приложенном рисунке.

На перекладах выноса находится платформа, на которой в больших пирогах Били-Били выстроена целая хижина длиною метра в 2, шириною метра в 4 или 5. Стены ее сделаны из расколотого бамбука, крыша — из сплетенных листьев саговой пальмы. Мачта как раз разделяла хижину на две части, по обеим сторонам которых находились два длинных сиденья, где лежа могли помещаться двое. Таким образом, считая двух других, могущих спать на полу, в хижине находилось на ночь или в случае непогоды помещение не менее как для 8 человек. Верхняя половина хижины имела разборные стены, даже крыша могла быть разобрана в очень непродолжительное время. Вообще можно было заметить, что все в пироге было прилажено очень удобно, и нигде в этой хижине не терялось даром место. У самой мачты на высоте сиденья был укреплен плоский ящик, наполненный землей, в котором в случае надобности мог быть разложен огонь совершенно безопасно. Я нашел предложенное мне помещение очень удобным, светлее и чище, чем в хижине, и мне тотчас же пришла мысль воспользоваться со временем подобной большой пирогой для посещения деревень вдоль берега.

Каин, хозяин пироги, мой хороший приятель, принес скоро большой табир с дымящимся саго и наскобленным кокосовым орехом. Переставший перед заходом солнца дождь позволил мне обойти еще раз деревню, причем в углу одной хижины я открыл череп крокодила [...] (*В рукописи оставлено место для названия*), которых, как меня уверяли, очень много в море

Я затем имел случай видеть производство горшков, которым Били-Били славится на берегу материка Новой Гвинеи на несколько десятков миль. Не удивительно, что Били-Били доставляет их такое количество, так как выделкою их занимается почти каждая семья, и у каждой хижины под крышей стоят ряды готовых и полуготовых горшков. Выделывание горшков выпадает на долю женщин. Я проследил весь процесс, начиная от смешивания глины с мелким песком до обжигания готовых горшков.

Орудие, употребляемое при выделке их, ограничивается двумя или тремя дощечками и парю круглых немного приплюснутых с обеих сторон камней. Сперва с помощью плоской палочки делается из глины верхнее отверстие горшка (*Анучиным исправлено по смыслу*: верхний ободок горшка), которое оставляется сушиться на солнце. Когда оно немного отвердеет, к нему мало-помалу прилепляются по кускам остальные стенки, которые выравниваются. Правильная форма горшку дается тем, что, держа горшок на коленях, женщины просовывают левую руку с круглым или плоским камнем в горшок, подставляя его к внутренней поверхности стенки, а правой рукой ударяют дощечкой по соответствующему месту на внешней стороне и выравнивают при этом как поверхность, так и толщину горшка. Когда горшок готов, его сперва сушат на солнце, а потом обжигают на слое хвороста, обкладывая листьями, тонкими прутьями и т. д. Положив горшки в несколько рядов один на другой и обложив всю кучу мелким, легким хворостом, поджигают костер. Все они приблизительно одной формы, хотя разной величины, от [...] до [...]. Украшений на них мало: иногда ряд точек вокруг горла или род звезды вместо круга; иногда те же украшения выдавлены ногтем .

При заходе солнца я сделал снова прогулку вокруг островка. Я уже чувствовал себя в Били-Били, как у себя дома, и познакомился уже со многими главными тропинками и закоулками островка. Как я уже заметил выше, весь остров, за исключением деревни, покрыт лесом, в котором находится несколько экземпляров красивых старых деревьев и живописных групп пальм. Самый край берега, который у деревни отлог и песчан, здесь обрывист и состоит из поднятого кораллового известняка; в некоторых местах в нем находятся глубокие пещеры, в которые с шумом льет вода. Вид высоких гор, открытое море, красивые деревья вокруг и даже однообразный, убаюкивающий гул прибоя мне так понравились, что мысль переселиться сюда, которую я высказал туземцам шутя, показалась мне довольно хорошей. Я даже нашел 2 уголка, куда я мог бы поставить свою хижину, и не знал, которому отдать преимущество. Одно обстоятельство, однако ж, мешало: островок мал, а людей много; пожалуй, будет тесно.

Когда я отправился гулять, мне понравилось, что никто из туземцев не побежал за мною поглядеть, куда я иду, никто не спросил, куда и зачем я отправляюсь. Все были заняты своим делом. Мои соседи на материке гораздо любопытнее или, может быть, подозрительнее. Здесь, однако ж, люди гораздо разговорчивее или любознательнее. Место жительства туземцев на небольшом островке повлияло значительно на характер их занятий и на их собственный. Не имея места на острове заниматься земледелием, они получают все главные съестные припасы из соседних береговых деревень, сами же занимаются разными ремеслами: горшечным производством, выделыванием деревянной посуды, постройкой пирог и т. п.

Возвращаясь в деревню, я был остановлен у одной хижины: хозяин пожелал поднести мне подарок и, схватив какую-то несчастную собаку (которая, вероятно, не ожидала такого конца) за задние лапы, ударил ее с размаха головой о соседнее дерево и, размозжив ей таким образом череп, положил ее к моим ногам. Он это сделал так скоро, что я не успел остановить его. Поняв, что это был подарок и не желая обидеть дарящего, я принял его, но попросил, чтобы хозяин сам приготовил, сварил или изжарил бы собаку. Когда мне подали целый табир с кусками вареного собачьего мяса, я роздал обступившим меня туземцам по кусочку, оставив большую порцию Каину, небольшую Ульсону и маленькую себе.

Перед тем, как стало темнеть, все население островка, мужское и женское, было налицо. Также очень много детей, многим из которых родители хотели дать имя Маклая, на что, однако ж, я не согласился. Форма головы (чрезмерно пирамидальная с покатым лбом)

одного из грудных детей обратила на себя мое внимание. Можно было подумать, что форма была дана голове искусственно, но я положительно не нашел никаких доказательств искусственной деформации черепа. Впрочем, такие конические головы я уже не раз встречал в Полинезии.

*5 марта.* Проспав отлично ночь, я отправился на восточный берег островка посмотреть на вершины гор Мана-Боро-Боро, как называют туземцы горы Финистер. При восходе солнца горы видны ясно; к 7—8 часам утра облака собираются и ложатся на вершины до вечера. Сегодня утро было великолепное, и два прохода в береговой цепи, около дер. Мале и около дер. Богати, так и манили возможностью пробраться вовнутрь страны.

Я так замечтался, что не заметил, как около меня расположилась целая группа туземцев и молча следила за моими взорами. Подошел также и Каин, которому я сказал, что поево его саго, я отправлюсь домой, как только ветер будет посильнее. В ожидании саго и ветра я занялся составлением словаря диалекта Били-Били, который значительно разнится от языка моих соседей. В физиономиях туземцев я мог заметить желание, чтобы я убрался поскорее. Это желание они довольно хорошо скрывали под личиною большой любезности. Чувство это я нашел таким естественным, может быть, вследствие того, что сам испытывал его подчас. Эти люди привыкли быть одни; всякое посещение, особенно такого чужестранного зверя, как я, для них сперва хотя и интересно, но потом утомительно, и желание избавиться от него, отдохнуть очень натурально.

Поэтому, как только подул слабый ветерок, я подал знак, и человек 30 проворно стащили в воду мою шляпку. Я поднял флаг, который жителям очень понравился, что они выразили громким «ай!», и медленно стал подвигаться домой, сопровождаемый прощальными криками жителей Били-Били и обещаниями скоро навестить меня. Главною причиною этого желания было что ребенок из Кар-Кара с большими ранами на ногах, отцу которого я дал свинцовую мазь, очень поправился, почему множество больных Били-Били пристали помочь и им, но, не взяв ни каких лекарств с собою, я объявил, чтобы они приехали ко мне.

К 2 часам пополудни, по случаю слабого NW, мы были уже в виду мыса Гарагасси, и не без чувства ожидания и любопытства поднялся я к своей хижине, которую в первый раз оставил так долго без присмотра и не был совершенно уверен, что мои веревки и пальмовые листья окажутся достаточно надежною преградой любопытству папуасов. Все, однако же, оказалось целым. и не успел я распутать веревки у дверей, как один за другим явилось человек 20 или более, которые с удивленными физиономиями спрашивали, где я был, и на мой ответ: «В Били-Билн» сказали, что думали, что я отправился в Россию. После обеда мы выгрузили подарки из Били-Били; оказалось около 50 кокосов, 4 ветви хороших банан и фунтов 20 саго. Табак и гвозди окупились.

*6 марта.* Выйдя утром на веранду, я увидел на моем столе медленно и красиво извивающуюся змею. Уловив момент, я живо схватил ее за шею у самой головы и, опустив ее в банку со спиртом, держал в ней, пока она, наглотавшись спирту, выпущенная мною, бессильно опустилась на дно банки.

Явился Туй, и я имел с ним долгий разговор о Били-Били, Кар-Каре, Марагум-Мана и т. д. Между прочим, он сообщил мне несколько названий предметов на диалектах 9 ближайших деревень (см. мой словарь). Между кокосами Били-Били было много таких, которые уже пустили ростки. Выбрав несколько из них, я посадил их перед домом.



По этому случаю я спросил Туя о кокосовых пальмах Горенду: все ли принадлежат деревне или же отдельным личностям. Туй сообщил мне, что в Горенду есть кокосовые пальмы, принадлежащие отдельным личностям, а другие — всей деревне. То же самое как и большие хижины: есть буамрамры, принадлежащие отдельным лицам, и другие, принадлежащие всей деревне.

Вечер был очень темен и тих. Я долго оставался у берега, сидя на стволе большого [...] (*В рукописи оставлено место для названия*), свесившегося над водой. Поверхность моря была очень покойна, и, следя за движением тысячей светящихся животных в море, можно было видеть, что они движутся самостоятельно и с различной скоростью. Это зрелище было совершенно иное, чем смотря на море ночью с судна, которого движение вперед может быть причиной раздражения и испускания света разных морских животных.

*7 марта.* Опять хозяйственные занятия. Белые бобы начинают портиться. Пришлось сушить их на солнце, причем сотни толстых червей выползли на подложенный холст. Ульсону пришлось отбирать испорченные бобы, что продолжалось до 2 часов. Вечером я отправился в Горенду за аянами и застал Туя опять в лежачем положении: он ходил много по солнцу, вопреки моему запрету, вследствие чего у него появился за ухом нарыв, который причинял сильную боль. Мне пришлось вернуться за ланцетом, открыв нарыв, откуда вытекло много материи, и Туй изъяснил очень скоро, что чувствует большое облегчение.

Возвращаться пришлось в темноте, но я довольно хорошо пробрался по тропинке, где и днем приходится часто спотыкаться о лианы и корни. Становлюсь немного папуасом: сегодня утром, например, почувствовав голод во время прогулки и увидев большого краба, я поймал его и сырого, т. е. живого, съел, что можно было съесть в нем.

*8 марта.* Шлюпка опять сильно течет; в день набирается около 23 ведер воды, почти по ведру в час.

*9 марта.* Ходил в Горенду, где хорошо позавтракал аянами и саго.

В середине февраля прекратился дегарголь [...] (*В рукописи оставлено место для названия*). В начале марта сахарный тростник почти что исчез; скоро, говорят, не будет и аяна, а вместо него на смену явится бау [...] (*В рукописи оставлено место для названия*), а потом еще род бобов, который папуасы называют [...] (*В рукописи оставлено место для названия*); аусь [...] (*В рукописи оставлено место для названия*) тоже с каждым днем становится хуже, так как часть его оказывается черною и изъеденною отчасти червями.

*14 марта.* Встал с сильнейшею головною болью; малейший шум был для меня несносен. Вдруг на большом дереве [...] (*В рукописи оставлено место для названия*), к которому прислоняется моя хижина, раздался громкий, резкий, неприятный крик черного какаду [...] (*В рукописи оставлено место для названия. Анучиным вписано: (Micro glossus aterrimus Gm)*)), этой специально новогвинейской птицы. Я подождал несколько минут, надеясь, что он улетит. Наконец, не вытерпел и вышел с ружьем из хижины. Птица сидела почти совершенно над головой, футов на 100, по крайней мере, от земли. Ружье было заряжено очень мелкою дробью, так что при такой высоте и густой зелени кругом я сомневался, что выстрел будет иметь эффект, но выстрелил, главным образом чтобы спугнуть птицу и избавиться от ее несносного крика. Хотя я выстрелил почти что не целясь, птица с пронзительным криком, кружась, упала у самого ствола дерева. Неожиданная редкая добыча заставила меня на время позабыть головную боль и

приняться за препарирование какаду. Расстояние между концами растянутых крыльев было более 1 м.

К 12 часам головная боль так одолела меня, что я принужден был бросить работу и пролежал почти не двигаясь, разумеется, без еды, до следующего утра.

*15 марта.* Отпрепарировал мозг [...] (*В рукописи оставлено место для названия*) и оставил мой первый экземпляр черного какаду для миологических исследований .

Вечером зашел в Горенду и видел на туземцах результаты большого угощения Бонгу. Туземцы так наелись, что их животы, сильно выдававшиеся и натянутые, были так нагружены, что им было трудно ходить. Несмотря на то, каждый нес на спине или в руках порядочную порцию еды, с которой они намерены покончить сегодня же. Полный желудок мешал им даже говорить, и, ожидая приготовления ужина, что было предоставлено сегодня молодежи, большинство из мужчин лежало, растянувшись у костров. Я долго не забуду этого зрелища.

*16 марта.* Несколько пришедших из Колику-Мана людей принесли мне в подарок поросенка, за что получили установившуюся уже цену — небольшое зеркало в деревянной рамке. Так как их пришло человек около десяти, то пришлось каждому дать что-нибудь; дал по небольшому куску табаку, который здесь начал очень расходиться, так как при каждой встрече — приходят ли туземцы ко мне, иду ли я в деревню — все пристают: «Табак, табак».

Разговоры о нападении со стороны Марагум-Манатамо продолжаются. Они так мне надоели, что положительно желаю, чтобы они, наконец, действительно пришли.

*29 марта.* Туземцы настолько привыкли ко мне и настолько убеждены, что я им не причиню никакого вреда, что я перестал стесняться относительно употребления огнестрельного оружия. Хожу почти каждое утро в лес за свежую провизию. Разные виды [...] (*В рукописи оставлено место для названия*) предпочитают, разумеется, мною, но я не пренебрегаю мясом попугаев, какаду и других. Попробовал на днях мясо *Corvus senex*, которого скелет я, разумеется, отпрепарировал.

Туземцы очень боятся выстрелов из ружья; несколько раз уже просили не стрелять близ деревень, но вместе с тем очень довольны, когда я им дарю перья убитых птиц, которыми они украшают свои гребни.

Вчера часы у меня остановились. Желая встать до света, я лег очень рано и заснул крепким сном. Когда я проснулся, было темно; мне показалось почему-то, что я спал долго и что скоро пора идти. Часы стоят. Я оделся и пошел сам развести огонь. Заварил чай и спек в золе аусь и бананы. Позавтракал, стал потом дожидаться первых лучей. Сидел, сидел, сидел — все так же темно. Решил, наконец, снять часть охотничьей амуниции и поспать немного. Я заснул, несколько раз просыпался — все еще было темно. Наконец, проснувшись, я вскочил, так как было уже совсем светло. Полагаю, что я завтракал в 12 часов или в час ночи. Положительно очень неудобно не иметь часов.

В Горенду застал Туя, готового сопровождать меня, и с восходом солнца мы отправились. Влезли сперва на Горенду-Мана (около 300 футов вышины) и прошли лесом на SO. Хребет невысокого кряжа был покрыт не густым, но высоким лесом, и, раз взобравшись туда, идти было удобно. Птиц, однако же, почти что не было, даже крика их нигде не было слышно. Пройдя около часа, мы вышли из леса к другому скату хребта, покрытому

высоким унаном (*Imperata sp.*?), и отсюда открылась очень красивая обширная панорама холмов, кряжей и гор, покрытых темным лесом, между которым в немногих местах проглядывали светло-зеленые лужайки и склоны, покрытые унаном. На дальних высоких вершинах гор клубились уже облака.

Туй не дал мне долго любоваться видом и стал быстро спускаться по крутому скату кряжа, держась за унан и почти что исчезая в нем. Мы сошли к болоту, где высокая трава была заменена тростником (*Vidua Saccharum*) и папоротниками. Здесь послышалось далекое журчанье. Туй объяснил мне, что мы приближаемся к большой воде (реке). Снова вошли в лес. Изрытая везде земля показывала частое посещение этой местности дикими свиньями. Шум воды становился все сильнее. Деревья стали редеть. Мы выходили к опушке леса, когда на одном из деревьев я заметил несколько фигур. Они меня очень заинтересовали. Я их срисовал. Спрошенный Туй объяснил мне, что кто-нибудь из людей Теньгум- или Энглам-Мана вырубил их топором. Я спросил, стало ли это дерево теперь телум, на что получил отрицательный ответ. Хотя я уже здесь с лишком полгода, но все-таки знание языка оказалось недостаточным, я не мог спросить обстоятельно, зачем, почему сделаны эти фигуры и что они означают.

Мы подошли к самой реке, которая оказалась видною далеко с моря. Она на значительном протяжении отделяет низкий береговой хребет от более высокого, течет с S на N и на значительном расстоянии впадает около Гумбу в море. Русло речки очень широкое, но в это время года оно было пересохшим, и несколько отдельных рукавов различной ширины образовали множество островков, покрытых преимущественно крупным булыжником. Ложе реки было в этом месте широкое (шире Невы против Петропавловской крепости), и я насчитал не менее пяти рукавов, которые надо было перейти, чтобы попасть на другой берег. В двух или трех средних вода бежит очень стремительно.

Не желая смочить обувь, я снял башмаки, что оказалось ошибкою, так как, не привыкши ходить босиком, мне было трудно идти по мелкому булыжнику. Течение было здесь также сильное, и только благодаря копыту Туя, которое он мне подал, я перешел благополучно на одну из отмелей. Перейти через 4 остальных рукава мы не рискнули. Туй попробовал было, но в нескольких шагах погрузился выше пояса в воду. Я не настаивал идти далее, потому что при глубине воды и силе течения я, не умея плавать, не мог бы без чужой помощи добраться до противоположного берега. На силы Туя, не совсем еще поправившегося от раны, я не мог положиться. Переходя вброд через правый рукав, ноги мои были неприятно бомбардированы довольно крупными булыжниками (больше куриного яйца), которые неслись по течению. В средних, более широких и глубоких рукавах булыжники эти, разумеется, больше и могут, я полагаю, сшибить человека с ног.

Виды на оба берега были живописны, и я пожалел, что при жарком солнце не нашел возможным сделать полный рисунок, а удовольствовался поверхностным наброском, который прилагаю. Булыжники островка, на который мы перешли, были очень крупны (некоторые из них величиною с детскую голову) и свидетельствовали о силе течения во время дождей. Толстые стволы деревьев, лежащие там и сям на островках, тоже доказывали, что при дождях масса воды должна быть очень значительна. Туй сказал мне, что в реке много рыбы и что люди Горенду и Бонгу приходят иногда ловить ее.

Я не захотел возвращаться старою дорогой. Мы поэтому влезли на крутой холм, цепляясь за корни. На вершине опять оказался унан и опять жара от палящего солнца. Снова сошли вниз к реке и опять поднялись по отлогому скату холма, покрытого лесом. Здесь, думал Туй, будет богатая охота на птиц. Но их нигде кругом не было ни видно, ни слышно. Позавтракав очень рано и не взявши ничего с собою, я почувствовал, что желудок очень

пуст. Не находя добычи решительно никакой, направился домой. Туй попросил подождать его, говоря, что он хочет вырезать недалеко несколько бамбуков. Я согласился. Прождав полчаса, я стал звать его — ответа нет. Употребил свисток в дело — молчание.

Прождав еще четверть часа и думая, что Туй преспокойно возвратился домой, я также направился к дому. Надо было пройти сперва широкий луг унана. Не найдя настоящей тропы, я должен был проложить себе сам путь, что оказалось очень трудно. Жесткий, густой, выше человеческого роста унан представляет упругую массу, раздвинуть которую подчас руками или ногами мне оказывалось не под силу. Чтобы двигаться далее в таких критических местах, придумал употреблять средство, которое увенчалось успехом: я во весь рост ложился на унан, который под тяжестью моего тела медленно опускался; вставая, я мог идти далее или снова повторять придуманный маневр. Трава была выше моего роста, почему только при помощи компаса, который я, к счастью, захватил с собою, я мог идти по направлению к дому, а не блуждать по сторонам.

Раз пять я отдыхал — так трудно было прокладывать себе дорогу по этому зеленому морю. Отвесные лучи солнца, пустой желудок, вся охотничья сбруя заставили меня даже бояться солнечного удара, так как я несколько раз почувствовал головокружение. Я, наконец, добрался до леса, и здесь долго пришлось искать тропинку в Гарагасси. Вернувшись домой, две чашки чаю, хотя не особенно хорошего и очень жиденького и без сахара, значительно освежили меня.

*30 марта.* Приготовил скелет серого ворона ([...] (*В рукописи оставлено место для названия*)) и красного попугая ([...] (*В рукописи оставлено место для названия*))). Из обрезанных мускулов, окончив работы, сам срубил себе котлетку, которую сам изжарил, так как Ульсон был занят стиркой белья. Котлетка оказалась очень вкусная.

Погода так же хороша, как и вчера: в тени не более 31° Ц, что здесь вообще бывает не часто. Когда стемнело, туземцы из Горенду приехали ловить рыбу перед самой моей хижиной, на что они сперва пришли спросить позволения. Туй и Бугай остались посидеть и покурить около меня, отправив молодежь ловить рыбу. По их просьбе Ульсон спел им шведскую песню, которая им очень понравилась. Ловля рыбы с огнем очень живописна, и я долго любовался освещением и сценою ловли. Все конечности ловящего заняты при этом; в левой руке он держит факел, которым размахивает по воздуху, как только последний начинает гаснуть: правую туземец держит и бросает юр; на правой ноге он стоит, так как левою по временам снимает рыбок с юра. Когда ловля кончилась, мне преподнесли несколько рыбок, которые оказались [...] (*В рукописи оставлено место для названия*).

*31 марта.* Я измерил рис и бобы на следующие 5 месяцев: порции оказались очень небольшими, но все-таки, имея этот запас, приятно чувствовать, что не завишу от туземцев. К тому и ружье доставляет мне ежедневно свежую провизию, так что с этой стороны наша жизнь вполне обеспечена. Последние недели я замечаю изменение погоды: NW, иногда очень свежий, дувший последние месяцы в продолжение дня, заменился тихим ветерком и часто даже днем случаются штили, в марте выпало меньше дождя, чем в предыдущие месяцы, но последние дни по ночам собираются кругом черные тучи.

По деревням я замечаю также недостаток провизии.

*2 апреля.* Около 3 часов почувствовал себя скверно — пароксизм — и должен был пролежать весь вечер, не двигаясь, по случаю сильнейшей головной боли. Ночью была великолепнейшая гроза. Почти постоянная молния ярко освещала деревья кругом, море и

тучи. Гроза обнимала очень большое пространство: почти одновременно слышались раскаты грома вдали и грохот его почти что над головой. Частые молнии положительно ослепляли, в то же время самый дальний горизонт был так же ясен, как днем; я вспомнил Шопенгауэра [...] (*В рукописи оставлены чистыми три строки*) .

В то же время меня трясла сильная лихорадка. Я чувствовал холод во всем теле. Кроме того, холод и сырость, врывающиеся с ветром в двери и щели, очень раздражали меня. Как раз над головой на крыше была небольшая течь, и не успевал я немного успокоиться, как тонкая струйка или крупная капля дождя падала на лицо. Каждый порыв ветра мог сорвать толстые сухие лианы, все еще висящие над крышею, что имело бы последствием падение тяжелых ящиков, лежащих на чердаке надо мною.

Нуждаясь в нескольких часах сна и отчаиваясь заснуть при всех этих условиях, я принял незначительную дозу морфия и скоро уснул.

3 апреля. После обеда отправился в Бонгу достать проводников для экскурсии в Теньгум-Мана. Я воспользовался отливом, чтобы засухо дойти туда. По обыкновению по приходе гостя туземцы готовят ему угощение, которое сегодня выпало не особенно удачным: вместо аяна сварили бау, и саго имело сильный запах плесени. Я сидел у костра, у которого несколько женщин занимались приготовлением ужина, и удивлялся ловкости, с какой они чистили овощи своими первобытными инструментами: обломком раковины [...] (*В рукописи оставлено место для названия*) и бамбуковым ножом. Одна из женщин пробовала чистить бау ножом, данным мною ее мужу, но легко было заметить, что она владела им гораздо хуже, чем своими инструментами. Она беспрестанно зарезала слишком глубоко, вероятно, потому, что работая своими инструментами, они привыкли употреблять гораздо более силы, чем при усовершенствованных европейских.

Мне показали сегодня в первый раз род бобов («могар»), который туземцы поджаривают здесь, как мы, например, жарим кофе.

У одной женщины на руках был грудной ребенок, который вдруг раскричался. Я невольно нахмурился, что испугало женщину, которая поднялась моментально и удалилась в хижину; ребенок не переставал кричать, однако ж, почему женщина вышла снова из хижины, положила его в большой мешок, который повесила себе на спину таким образом, что снурок охватывал лоб, и, нагнув голову, чтобы сохранить равновесие, принялась быстро бегать взад и вперед по площадке между хижинами, причем ребенок, крик которого был, вероятно, затруднен движением, скоро умолк.

Мой ужин был готов, и меня повели в буамрамру и пригласили сесть на нары, после чего передо мной поставили табир с дымящимся бау и аусем. У папуасов здесь обычаем оставлять гостя одного во время еды или только сидеть против него и прислуживать ему; хозяин при этом ничего не ест, а только прислуживает, другие же все отворачиваются или уходят на время.

Я нашел себе двух проводников, и еще третий по собственному желанию присоединяется к нам (У папуасов ~ к нам *приписано в конце листа другим почерком и другими чернилами*).

Когда я собрался идти, уже почти что совсем стемнело и только на берегу моря можно было различать предметы, в лесу же царствовала полная темнота, и ощупью только я мог пробраться по узкой тропинке и не без труда дошел до Горенду, где жители были крайне удивлены моему позднему приходу. Несколько человек сидели около своих хижин и в

темноте перекидывались иногда словами; только в буамрамре горел костер и варился ужин для гостя из Гумбу. Мне также предложили ужинать; я отказался и попросил только горящее полено, чтобы добраться до дому. Мне хотели дать проводника, я отказался, находя, что мне следует привыкать быть в некоторых отношениях папуасом. Я отправился с пылающим поленом в руках, но огонь скоро погас, а зажечь его снова я не сумел. Тлеющий конец мне вовсе не помогал, почему я и бросил его на полдороге. Несколько раз сбивался с тропинки, по которой днем я проходил уже много сотен раз; я наткнулся на пни и ветви и раза два усумнился, что дойду в этой темноте до дому. Я уже мирился с мыслью переночевать в лесу, но все же двигался вперед и все-таки добрался до дому, где удивился, что пришел с целыми глазами и неоцарапанным лицом.

*6 апреля.* Приготовился совсем идти в Теньгум-Мана. Думал в шлюпке отправиться в Бонгу, переночевать там и рано, с восходом солнца, идти в Теньгум-Мана, но сильная гроза с проливным дождем заставили меня остаться дома.

*7 апреля.* Теньгум-Мана — горная деревня, лежащая за рекою Габенеу, и особенно интересует меня как одна из самых высоких деревень этого горного хребта, носящего общее имя Мана-Боро-Боро. Хотя я многих жителей горных деревень не раз уже видел в Гарагасси, мне хотелось посмотреть, как они живут. Оставив Ульсона в Гарагасси, я взвалил на плечи небольшой ранец, с которым, будучи студентом в Гейдельберге и в Иене, я исходил многие части Германии и Швейцарии. Захватив с собою самое легкое одеяло, я направился в Бонгу. Дорогой, однако ж, ноша моя оказалась слишком тяжелою, почему в Горенду я отобрал некоторые вещи, свернул их в пакет и передал его Дигу, который охотно взялся нести мои вещи.

Прилив был еще высок; пришлось разуть ноги и часто по колена в воде идти по берегу. Солнце садилось, когда я вошел в Бонгу. Большинство жителей собиралось на рыбную ловлю, но многие по случаю моего прихода остались, чтобы приготовить мне ужин. В Бонгу были также гости из Били-Били, и мы вместе поужинали. Совсем стемнело, но папуасы и не думали зажечь других костров, кроме тех, которые были необходимы для приготовления ужина, и эти не горели, а догорали. Люди сидели, ели и бродили почти в полной темноте. Это хотя и показалось мне оригинальным, но не совсем удобным. Может быть, это происходит от недостатка сухого леса и значительной трудности рубить свежий каменными топорами. Когда надо было немного более света, туземцы зажигали пук сухих кокосовых листьев, который ярко освещал окружающие предметы на минуту или на две.

Папуасы имеют хорошую привычку не говорить много, особенно при еде, процесс которой совершается молча. Наскучив сидеть впотьмах, я пошел к морю посмотреть на рыбную ловлю. Один из туземцев зажег пук кокосовых листьев, и при свете этого факела мы пришли к берегу, где дюжина ярких огней пылала на пирогах и отражения их, двигаясь по воде, местами освещали пену прибоя. Весь северный горизонт был покрыт темными тучами. Над Кар-Каром беспрестанно сверкала молния, и по временам слышался далекий гром. Я присоединился к группе сидевших на берегу на стволе выброшенного прибоем большого дерева. Пироги одна за другой скоро стали приставать к берегу, и рыбаки приступили к разборке добычи. Мальчики лет 8 или 10 стояли у платформы пирога, держа факелы, между тем как взрослые раскладывали в кучки словленных рыбок. При резком освещении профиль мальчиков мне показался типичным, типичнее, чем профиль взрослых, у которых усы, бороды и громадная шевелюра, у каждого различная, представляли индивидуальный отпечаток. У мальчиков же безволосая нижняя часть лица и почти у всех выбритая голова представляли очень типические силуэты.

Три особенности кинулись мне в глаза: высокий, бегущий назад череп с покатым лбом, выдающиеся вперед челюсти, так что верхняя губа выдавалась далее вперед, чем оконечность носа, и, в-третьих, тонкость шеи, особенно верхней полости, под подбородком. Каждый из рыбаков принес мне по несколько рыбок, и один из них, когда мы вернулись в деревню, испек их для меня в горячей золе. Когда я отправился в буамрамру, где должен был провести ночь, меня сопровождали человек 5 туземцев, которым было любопытно знать, как я лягу спать.

Лако, хозяин хижины, сидел у светло горящего костра и занимался печением пойманной им рыбы. Внутренность хижины была довольно обширна и производила при ярком освещении, позволявшем рассмотреть все до малейшей подробности, странное впечатление своею пустотою. Посередине помещался костер, у правой стены — голые длинные нары; разновидность (*В рукописи* род) широкой полки была прикреплена вдоль левой стороны, на ней лежало несколько кокосов, над нарами висели 2—3 копыя, лук и стрелы. От конька крыши опускалась веревка, имевшая 4 конца, которые прикреплялись к 4 углам небольшой висячей низкой бамбуковой корзины, в которой, завернутые в зеленые листья, лежали вареные съестные припасы. Вот все, что было в хижине.

Несколько кокосовых орехов, немного печеного аяна и рыбы, 2 — 3 копыя, лук и стрелы, несколько табиров, 3 или 4 маль были единственною движимою собственностью Лако, как и большинства папуасов. Хотя у него еще не было жены, но была уже хижина, между тем как у большинства неженатых туземцев хижин не имеется.

Я приготовил себе постель, разостлав одеяло на длинных нарах, подложил под голову ранец, надул каучуковую подушку, к величайшему удивлению диких, сбросил башмаки и лег, закрывшись половиною одеяла, между тем как другая половина находилась под мною. Человек 6 туземцев следили молча, но с большим интересом за каждым моим движением. Когда я закрыл глаза, они присели к костру и стали шептаться, чтобы не мешать мне. Я очень скоро заснул.

8 апреля. Я проснулся ночью, разбуженный движением нар. Лако, спавший на противоположном конце, соскочил с них, чтобы поправить тухнувший костер; на голое тело его, должно быть, неприятно действовал ночной ветерок, пробиравшийся чрез многочисленные щели хижины. Лако не удовольствовался тем, что раздул костер, и, подложив дров, он разложил еще другой, под нарами, под самым тем местом, где лежал, так что теплый дым проходил между расколотым бамбуком, из которого был сделан верх нар, и согревал одну сторону его непокрытого тела. Я сам нашел, что мое войлочное одеяло было не лишним удобством; ночь была действительно прохладная.

Несколько раз сквозь сон слышал, как Лако вставал, чтобы поправить огонь; также по временам будил меня крик детей, раздававшийся из ближайших хижин. Крик петуха и голос Лако, разговаривавшего с соседом, окончательно разбудили меня, так что я встал и оделся. Не найдя ни у хозяина, ни у соседей достаточно воды, чтобы умыться, я отправился к ручью. Было еще совсем темно, и я с горячей головней в руках принужден был искать дорогу к берегу моря, куда впадал ручей. Над Кар-Каром лежали темные массы облаков, из которых сверкала частая молния; восточный горизонт начинал только что бледнеть. Умывшись у ручья и захватив принесенный бамбук с водою, я вернулся в деревню и занялся приготовлением чая. Процесс этот очень удивил Лако и пришедших с утренним визитом папуасов, которые все стали хохотать, увидя, что я пью горячую воду и что она может быть «инги» (кушанье, еда) для Маклая. Покончив с чаем и выйдя из хижины, я был неприятно удивлен тем, что еще господствует темнота, несмотря на то, что я уже около часа был на ногах. Не имея часов с собою, я решил снова лечь и дожидаться

дня. Я проснулся, когда уже совсем рассвело, и стал собираться в путь. Оказалось затруднение. Люди Бонгу не желали ночевать в Теньгум-Мана, между тем как я хотел провести там ночь. Я решил так, что отпущу людей Бонгу по приходе в деревню сегодня же и вернусь завтра с людьми Теньгум-Мана домой. Дело уладилось, и вместо двух со мной отправилось семь человек.

Перейдя чрез береговой хребет (около 400 фут), мы спустились к реке Габенеу. Спуск был очень крут, так как тропинка шла без всяких зигзагов прямо вниз. Я спустился благополучно только благодаря копью, которое взял у одного из спутников. Наш караван остановился у берега реки, мутные воды которой шумно неслись мимо, стуча камнями, катившимися вдоль дна. Я разделся, оставшись в одной рубашке, башмаках, которые принес для этой цели, и шляпе, распределив снятые вещи между спутниками. Дал один конец принесенного линя, который захватил с этою целью, одному туземцу и сказал другому, дав ему другой конец, чтобы переходил чрез реку. Течение значительно подвигало его наискось, и он еще не был на другом берегу, когда мой 25-саженный линь оказался недостаточно длинным, почему я приказал первому зайти в воду настолько, чтобы веревки хватило бы до другого берега. Таким образом линь был растянут поперек самого стремительного места рукава. Я сошел в реку, держась одною рукою за линь. Вода показалась мне очень холодною (хотя термометр показывал 22° Ц) и доходила мне выше груди, а в одном месте до плеч. Камни действительно бомбардировали ноги, но течение могло нести только небольшие, которые не в состоянии были сбить человека с ног. Я нашел, что и без линя я мог бы перейти реку, подвигаясь наискось, что я и сделал при переходе через следующие 3 рукава. Главное неудобство состояло в неровном кремнистом дне и в мутности воды, не позволявшей разглядеть характер дна.

Перейдя на другой берег, я уже хотел одеться, когда мне сказали, что нам придется перейти еще через один рукав, почему я и остался в своем легком, но не совсем удобном костюме. Солнце очень пекло мои голые и мокрые ноги; вместо того чтобы взобраться на правый берег, мы пошли вверх по руслу реки, по каменистым отмелям, переходя десяток раз рукава реки, вода которой была во многих местах выше пояса. Мы шли таким образом около 2 часов под палящим солнцем, и чтобы предупредить возможность пароксизма лихорадки, я принял грана 3 хины. Оба берега реки были высоки и покрыты лесом и в некоторых местах обрывисты, причем можно было видеть пласты серо-черного глинистого сланца. У большого ствола саговой пальмы, принесенной сюда, вероятно, в последнюю высокую воду, Лако сказал мне, что здесь я могу одеться, так как более в воде не придется идти. Пока я следовал его совету, туземцы курили, жевали бетель, разглядывая мои башмаки, носки, шляпу, и, рассуждая о них, делали очень смешные замечания.

На пне, где мы сидели, я заметил несколько фигур, вырубленных топором, похожих на те, которые я видел во время последней экскурсии к реке.

Подойдя к правому берегу, в месте, где я менее всего ожидал тропинки, мне указали узкую тропу вверх, и только с помощью корней и ветвей можно было добраться до площадки, откуда тропинка становилась шире и отложе. Не стану описывать наш путь вверх, скажу только, что дорога была очень дурна, крута, и я несколько раз принужден был отдыхать, не будучи в состоянии идти постоянно в гору. Обстоятельство это ухудшалось тем, что, идя впереди всех и имея за собою целый караван, я не мог останавливаться так часто, как если бы я был один. Никто из туземцев не смел или не хотел идти передо мной.



Наконец, пройдя обширную плантацию сахарного тростника и банан, мы достигли вершины. Я думал, что сейчас покажется деревня, но ошибся, пришлось идти далее. В ответ на крик моих спутников послышалось несколько голосов, а затем, немного спустя, показалось несколько жителей деревни, из которых, однако, многие бросились назад, завидя меня. Много слов и крику стоило моим спутникам вернуть их; боязливо приблизились они снова, но когда я протянул одному из них руку, он опять стремглав бросился в кусты. Было смешно видеть, как эти здоровенные люди дрожали, подавая мне руку, и быстро пятились назад, не смея взглянуть на меня и смотря в сторону.

После этой церемонии мы отправились в деревню: я вперед, а за мною гуськом человек 25. Мое появление там произвело тоже действие панического страха: мужчины убежали, женщины быстро ретировались в хижины, закрывая за собою двери, дети кричали, а собаки, поджав хвосты и отбежав в сторону, принялись выть. Не обращая внимания на весь этот переполох, я присел, и в очень короткое время почти все убежавшие жители стали показываться один за другим снова из-за углов хижин. Мое знание диалекта Бонгу здесь не пригодилось, и только при помощи переводчика я мог объяснить, что я намереваюсь остаться ночевать в деревне, чтобы мне указали хижину, где я могу провести ночь, и прибавил, что желал бы достать в обмен за ножи один экземпляр маба ([...] *(В рукописи оставлено место для названия)*) и дюга ([...] *(В рукописи оставлено место для названия)*). После некоторых прений меня привели в просторную хижину, и, оставив там вещи, я отправился, сопровождаемый толпою туземцев, осмотреть деревню. Она была расположена на самом хребте. Посредине тянулась довольно широкая улица; с обеих сторон стояли хижины, за которыми спускались вниз крутые скаты, покрытые густою зеленью. Между хижинами и за ними подымались многочисленные кокосовые пальмы; по скату ниже были насажены арековые пальмы, которые здесь растут в изобилии, к великой зависти всех соседних деревень.

Большинство хижин было значительно меньше, чем в прибрежных деревнях. Все они были построены на один лад: имели овальное основание и состояли почти что из одной крыши, так как стен по сторонам почти не было видно. Перед маленькой дверью была полукруглая площадка под такую же крышею, которая опиралась на две стойки. На этой площадке сидели, ели и работали женщины, защищенные от солнца. Пока я занялся рисованием двух телумов, для нас, т. е. гостей, готовились «инги». Прибежали 2 мальчика с известием, что инги готово, за ними следовала процессия: 4 туземца, каждый с табиром; в первом находился наскобленный кокосовый орех, смоченный кокосовой водой, в трех остальных — вареный бау. Все четыре были поставлены у моих ног. Взяв по небольшой порции монки-ла и вареного таро, я отдал все остальное моим спутникам, которые жадно принялись есть. Немного поодаль расположились жители Теньгум-Мана, и я имел удобный случай рассмотреть их физиономии, так как они были заняты оживленным разговором с людьми Бонгу. Между ними было несколько таких физиономий, которые вполне соответствовали понятию о дикаре. Вряд ли самое пылкое воображение талантливого художника могло придумать более подходящую.

Мне принесли несколько сломанных черепов маба, но между ними не оказалось ни одного черепа казуара. По всему было видно, что здешние жители не занимаются правильной охотой, а убивают этих животных при случае. Мои спутники, между тем, наговорили так много страшного обо мне, т. е. что я могу жечь воду, убивать огнем, что люди могут заболеть от моего взгляда и т. д., и т. д., что, кажется, жителям Теньгум-Мана стало страшно оставаться в деревне, пока я там нахожусь. Они серьезно спрашивали людей Бонгу, не лучше ли им уйти, пока я у них в деревне. Я очень негодовал на моих спутников за такое застрашивание горных жителей моей личностью, не догадываясь тогда, что это было сделано с целью установить между жителями горных деревень мою репутацию как

очень опасного или очень могучего человека. Они это делали, как я потом понял, для своей же пользы, выставя меня как их друга и покровителя.

Мне так надоели вопросы, останусь ли я в Теньгум-Мана или вернусь домой, что я повторил мое решение остаться и лег на нары под полукруглым навесом хижины и заснул. Моя сиеста продолжилась более часа. Сквозь сон я слышал прощанья туземцев Бонгу с жителями Теньгум-Мана.

Отдохнув от утренней ходьбы, я пошел погулять по окрестностям деревни, разумеется, сопровождаемый целую свитой туземцев. Пять минут ходьбы по тропинке привели нас к возвышенности, откуда слышались голоса. Взбираясь туда, я увидел крыши, окруженные кокосовыми пальмами. Это была вторая площадка; выше ее была еще третья — самая высокая точка в Теньгум-Мана; вид отсюда должен был быть очень обширный, но его значительно скрывала растительность. На NO вдаль простиралось море, на O, отделенная глубокою долиной, возвышалась Энглам-Мана, на W за рядом холмов виднелось каменистое ложе реки Коли, на SW тянулся целый лабиринт гор. Расспросы о них привели к результату, что только Энглам-Мана заселена, что все другие, видневшиеся с этой точки, совершенно необитаемы и что туда никто не ходит и нет нигде в тех местах тропинок. Возвращаясь, я обратил особенное внимание на хижины. Перед входом многих из них висели кости, перья, сломанные черепа собак, кускусов, у некоторых — даже человеческие черепа, но без нижней челюсти. В одном месте поперек площадки на растянутой между двумя деревьями веревке висел ряд пустых корзин, свидетельствовавших о подарках из других деревень. Энглам-Мана изобилует арековой пальмой и кеу.

Когда я поставил столик, сел на складную скамейку, вынул портфель с бумагой и камеру-луциду, туземцы, окружавшие меня, сперва попятнулись, а затем совсем убежали. Не зная диалекта их, я не пытался говорить с ними и молча принялся рисовать одну из хижин. Не видя и не слыша ничего страшного, туземцы вновь приблизились и совершенно успокоились, так что мне удалось сделать 2 портрета; как раз один из них был именно тот, о котором я сказал, что он внешнею особенно подходит под наше представление о дикаре. Но так как эта «дикость» не заключается в чертах лица, а в выражении, в быстрой перемене одного выражения на другое и в подвижности мускулов лица, то, перенеся на бумагу одни линии его профиля, я получил очень недостаточную копию с оригинала. Другой туземец был гораздо благообразнее и не имел таких выдающихся челюстей.

Обед и ужин, который мне подали, состояли снова из вареного бау, банан и наскобленного кокосового ореха. Один из туземцев, который знал немного диалект Бонгу, взялся быть моим чичероне, не отходил все время от меня; заметив, что принесенное бау так горячо, что я не могу есть его, он счел обязанностью своими не особенно чистыми руками брать каждый кусок таро и дуть на него. Поэтому я поспешил взять табир из-под его опеки и предложил ему скушать те кусочки бау, которые он приготавливал для меня. Это, однако ж, не помешало ему следить пристально за всеми моими движениями. Заметив волосок на куске бау, который я только что подносил ко рту, мой туземец поспешно полез своей рукой, снял его и, с торжеством показав его мне, бросил.

Чистотою здешние папуасы, сравнительно с береговыми, не могут похвастаться. Это отчасти обуславливается недостатком воды, которую им приходится приносить из реки по неудобной горной лесной дороге.

Когда я спросил воды, мне вылили из бамбука после долгого совещания, откуда налить, такую грязную бурду, что я отказался даже попробовать ее.

Около 6 часов облака спустились и закрыли заходящее солнце; стало сыро и холодно, скоро совершенно стемнело. Как и вчера в Бонгу, мы остались в темноте; при тлеющих углях можно было едва-едва разглядеть фигуры, сидящие в двух шагах. Я спросил огня. Мой чичероне понял, должно быть, что я не желаю сидеть в темноте, и принес целый ворох сухих пальмовых листьев и зажег их. Яркое пламя осветило сидящую против меня группу туземцев, которые молча курили и жевали бетель. Среди них около огня сидел туземец, которого я уже прежде заметил; он кричал и командовал больше всех, и его слушались; он также вел преимущественно разговор с жителями Бонгу и хлопотал около кушанья. Хотя никакими внешними украшениями он не отличался от прочих, но манера его командовать и кричать заставила меня предположить, что он главное лицо в Теньгум-Мана, и я не ошибся. Такие субъекты, род начальников, которые, насколько мне известно, не имеют особенного названия, встречаются во всех деревнях; им часто принадлежат большие буамрамры, и около них обыкновенно группируется известное число туземцев, исполняющих их приказания.

Мне захотелось послушать туземное пение, чтобы сравнить с пением береговых жителей, но никто не решался затянуть мун Теньгум-Мана, и я счел поэтому самым рациональным лечь спать.

*9 апреля.* Толпа перед хижиной, в которой я лежал, еще долго не расходилась, туземцы долго о чем-то рассуждали. Особенно много говорил Минем, которого я принял за начальника. Только что я стал засыпать, как крик свиньи разбудил меня. Несколько зажженных бамбуков освещали группу туземцев, которые привязывали к длинной палке довольно большую свинью, назначенную для меня. Потом ночью сильный кашель в ближайшей хижине часто будил меня; также спавшие на других нарах двое туземцев часто поправляли костер, разложенный посреди хижины, и подкладывали уголья под свои нары. С первыми лучами солнца я встал, обошел снова всю деревню, собирая черепа, кускус и что найдется интересного; приобрел, однако ж, только 2 человеческих черепа без нижних челюстей и телум, которого туземцы называли «Калиа». Этот последний телум я получил после долгих толков, крика Минема и обещания с моей стороны, кроме гвоздей, прислать несколько бутылок.

После завтрака, состоявшего также из вареного таро и кокоса, я дал нести мои вещи 3 туземцам и вышел из-под навеса хижины. На площадке стояло и сидело все население деревни, образуя полукруг; посредине стояли двое туземцев, держа на плечах длинный бамбук с привешенной к нему свиньей. Как только я вышел, Минем, держа в руках зеленую ветку, подошел торжественно к свинье и проговорил, при общем молчании, речь, из которой я понял, что эта свинья дается жителями Теньгум-Мана в подарок Маклаю, что ее люди этой деревни снесут в дом Маклая, что там Маклай ее заколет копьем, что свинья будет кричать, а потом умрет, что Маклай развяжет ее, опалит волосы, разрежет ее и съест. Кончив речь, Минем заткнул зеленую ветвь за лианы, которыми свинья была привязана к палке. Все хранили молчание и ждали чего-то. Я понял, что ждали моего ответа. Я подошел тогда к свинье и, собрав все мое знание диалекта Бонгу, ответил Минему, причем имел удовольствие видеть, что меня понимают и что остаются довольны моими словами. Я сказал, что пришел в Теньгум-Мана не за свиньей, а чтобы видеть людей, их хижины и гору Теньгум-Мана, что хочу достать по экземпляру маба и дюга, за которых я готов дать по хорошему ножу (общее одобрение с прибавлением слова «эси»), что за свинью я также дам в Гарагасси то, что и другим давал, т. е. «ганун» — зеркало (общее одобрение), что когда буду есть свинью, то скажу, что люди Теньгум-Мана — хорошие люди, что если кто из людей Теньгум-Мана придет в таль Маклай (дом Маклая), то получит табак, маль (красные тряпки), гвозди и бутылки; что если люди Теньгум-Мана хороши, то и Маклай будет хорош (общее одобрение и крики: «Маклай хорош и тамо

Теньгум-Мана хороши»). После рукопожатий и криков «эме-ме» я поспешил выйти из деревни, так как солнце уже поднялось высоко.

Проходя мимо последней хижины, я увидел небольшую девочку, которая вертела в руках связанный концами снурок. Остановившись, я посмотрел, что она делает; она с самодовольною улыбкою повторила свои фокусы со снурком, которые оказались теми же, которыми занимаются иногда дети в Европе.

Сходя с одной возвышенности, я удивился многочисленности проводников, которые все были вооружены копьем, луком и стрелами. Для закуривания многие несли с собою дымящееся обугленное полено, не открыв до сих пор способа добывания огня. Они повели меня другою дорогою, а не той, по которой я пришел. Зная свои тропинки лучше, чем люди Бонгу, они хотели сократить путь, который оказался круче и неудобнее, чем тот, по которому мы шли вчера.

В одном месте, около плантации, вдоль тропинки лежал толстый ствол упавшего дерева, по крайней мере в метр в диаметре. На стороне, обращенной к деревне, были вырублены несколько иероглифических фигур, подобных тем, которые я видел в русле реки на саговом стволе, но гораздо старше последних. Эти фигуры на деревьях, как и изображения в Бонгу (о которых я говорил) и на пирогах Били-Били, заслуживают внимания, потому что они не что иное, как первый фазис развития письменности, первые шаги изобретения так называемого идейного шрифта. Человек, рисовавший углем или краскою или рубивший топором свои фигуры, хотел выразить какую-нибудь мысль, изобразить какой-нибудь факт. Эти фигуры не служат уже простым орнаментом, а имеют абстрактное значение; так, например, в Били-Били изображения процессии для приготовления к празднеству были сделаны в воспоминание окончания постройки пироги. Знаки на деревьях имеют очень грубые формы, состоят из нескольких линий; их значение, вероятно, остается понятным только для вырубавшего их и для тех, которым он объяснил значение своих иероглифов.

Я с удовольствием услышал шум реки, потому что тропинка была утомительна и необходимо было полное внимание, чтобы не задеть ногою за какую-нибудь поперек лежащую лиану, не оступиться о камень, не расшибить себе колено о лежащий поперек ствол, скрытый травой, не выколоть себе глаз о сучья и т. п. Все это мешало спокойно рассматривать местность. Мы подошли к тому самому месту, где вчера начали восхождение к Теньгум-Мана. У последнего уступа в несколько десятков фут вышиною была прогалина и вид на реку очень живописен.

Я остановился, чтобы отдохнуть и сделать набросок местоположения в альбом, сказав людям, чтобы они сошли вниз к реке и там бы ждали меня. Картина оживилась сошедшими вниз папуасами и приобрела тем туземный колорит. Я насчитал 18 человек. Они расположились отдыхать разнообразными группами. Одни лежали, вытянувшись на теплом песке, другие, сложив принесенные головни, сидели у костра и курили, третьи жевали бетель. Некоторые, наклонившись к реке, пили мутную воду. Многие, не расставаясь со своим оружием, стояли на больших камнях, опираясь на копья. Они зорко осматривали противоположный берег. Я потом узнал, что жители Теньгум-Мана находятся во вражде и ведут войну с жителями Гадаб-Мана; поэтому они все были вооружены и несколько человек стояли часовыми во время отдыха товарищей.

Я так загляделся на окружающую меня картину, что позабыл рисовать; притом мой неискусный карандаш мог бы воспроизвести лишь неполную, бледную копию с этой своеобразной местности и ее жителей. Я сошел к реке, как вчера, разделся, и мы

отправились вниз по ее руслу. Солнце сильно пекло, и камни, по которым пришлось идти, поранили мне ноги до крови. Две сцены оживили нашу переправу. Один из туземцев, заметив гревшую на солнце ящерицу и зная, что я собираю различных животных, подкрался к ней, затем с криком бросился на нее, но она улизнула. Человек 10 пустились преследовать ее, она металась между камнями, туземцы преследовали ее с удивительной ловкостью и проворством, несмотря на все препятствия, ношу и оружие. Наконец, ящерица скрылась между камнями под группой камыша, но и здесь дикие отыскивали ее. В один момент камыш был выдернут, камни разбросаны и земля быстро раскопана руками. Один из туземцев схватил ящерицу за шею и подал ее мне. Кроме платка, у меня не нашлось ничего, чтобы спрятать ее; пока ее завязывали, она успела укусить одного из туземцев так, что кровь сейчас же показалась, но улизнуть она не могла.

При переходе чрез один из рукавов реки туземцы заметили множество маленьких рыбок, быстро скользивших между камнями; мои спутники схватили камни и в один миг десятки их полетели в воду, часто попадая в цель. Убитые и пораненные рыбки были собраны, завернуты в листья и сохранены на ужин. Сегодня пришлось идти вниз по реке дольше, чем вчера, так как я хотел попасть прямо домой, а не в Бонгу или в Горенду. Придя, наконец, домой часам к четырем, я застал Ульсона бледным и шатающимся вследствие двух пароксизмов, так как он не во время принял хину. Я узнал, что в мое отсутствие Туй ночевал в Гарагасси (вероятно, приглашенный Ульсоном), чем я остался очень недоволен. Пришли еще жители Горенду и их гости из Били-Били. Около моей хижины расположились, болтая, человек 40 туземцев. Раздав табаку и по куску красной материи моим проводникам, я дал, согласно обещанию, зеркало одному из них за свинью, 2 бутылки и несколько больших гвоздей за телума и отпустил их, очень довольных мною, обратно в Теньгум. Сам же, не евши в течение 10 часов, с удовольствием выпил чай без сахара с вареным аяном.

*10 апреля.* Ночью я почувствовал боль в ноге и когда встал утром, она оказалась сильно опухшею, с тремя ранками, наполненными материей. Это был результат вчерашнего перехода через реку. Невозможность надеть башмаков и боль при движении заставили меня сидеть дома. Я поручил жителям Бонгу привязать на свой лад принесенную вчера свинью, так как я не хотел приказывать резать ее немедленно.

*12 апреля.* Два дня сидения дома имели хороший результат для моей ноги, так что я был в состоянии отнести сам порции свиного мяса в подарок жителям Горенду, так как сегодня свинья из Теньгум-Мана была зарезана Ульсоном. Она была слишком велика для двоих, и я, не желая возиться с солением и следуя местному обычаю, решил дать половину знакомым в Горенду и Бонгу. Принесенные куски мяса произвели большой эффект в Бонгу, и хотя я принес свинину только трем из жителей, но сейчас же были созваны женщины с трех площадок, чтобы чистить и готовить аян и бау. В угощении приняли участие и жители [...] (*В рукописи оставлено место для названия*).

Отдыхая, лежа в прохладной буамрамре, я заметил старый телум, у которого тело было человеческое, а голова крокодила. Затем я обратил внимание на приготовление папуасского кушанья «кале», которое видел в первый раз. Оно состояло из наскобленного, слегка поджаренного кокосового ореха, растертого с бау или аяном, из чего выходит довольно вкусное тесто.

Детей здесь рано приучают помогать в хозяйстве. Смешно видеть, как ребенок года в полтора или два тащит к костру большое полено, а затем бежит к матери пососать грудь.

Сегодня опять имел случай видеть обстоятельно процедуру приготовления кеу. Видел также, что и женщины пьют иногда этот напиток.

*14 апреля.* Несколько человек явилось из Бонгу за лекарством; один пришел с больными ногами; другой принес мне экземпляр трубы, которую я ему уже давно заказал, остальные явились с кокосовыми орехами.

Передавая мне длинный бамбук [...] (*В рукописи оставлено место для названия*), туземец сказал мне, чтобы я не показывал «ай» (общее название всех музыкальных инструментов) женщинам и детям, что это для них может быть худо. Здесь туземцы хранят все свои музыкальные инструменты втайне от женщин и детей и занимаются своим «ай» (т. е. музыкой) всегда вне деревень. Причина этого устранения женщин от музыки, пения и т. п. мне остается неизвестной.

*15 апреля.* Погода меняется, частые штилы, слабый ветер иногда от SO, пасмурность. Мое помещение так мало, что, если не соблюдать самый строгий порядок и неаккуратно каждый день ставить и класть все на место, положительно негде было бы сидеть. Эти постоянные уборки сопряжены со значительною скукою и потерей времени.

*16 апреля.* Придя утром в Горенду, я встретил там двух женщин из другой деревни, которые пришли в гости к женам Туя и Бугая. Большие мешки с подарками (бау и аяна) висели у них за спинами, между тем как веревки этих мешков обвивали лоб. Мешки были так тяжелы, что они не могли идти или стоять иначе, как полусогнувшись. Они были очень любезно встречены женщинами Горенду, которые пожимали им руки и гладили по плечу. Женщины при здоровании между собою подают друг другу руки или 2 или 3 пальца. У этих женщин от плеч над грудями, опускаясь к средней линии тела, был выжжен ряд пятен, которые отличались своим более светлым цветом от остальной кожи. Этот род татуировки встречается далеко не у всех.

*17 апреля.* Сегодня видел в Гумбу, как при помощи простой раковины и нескольких осколков кремня выдělываются из бамбука папуасские гребни. Верхняя часть этих гребней украшается бордюром орнаментов, выцарапанных очень искусно осколками кремня. Бордюры эти очень разнообразны, и я нарисовал несколько из них (сделал факсимиле). Чтобы сделать подобный гребень своими примитивными инструментами, туземцу требуется почти что полдня работы.

Последнее время приходилось серьезно заниматься охотой, так как наша дневная пища (стакан кофе утром с небольшим количеством таро, вареного или печеного, и немного бобов, таро и чашка чаю за обедом) становилась недостаточною. Охота здесь не оказалась трудною, так как птицы, еще не знакомые с действием огнестрельного оружия, не боязливы и подпускают меня очень близко. Главная добыча моя состоит [...] (*В рукописи оставлены чистыми две строки*). Мне вздумалось испытать на себе действие кеу. Наскреб ножом корень и стебель *Piper methysticum*, нарезал листьев и на полученную массу, составляющую около 2 полных столовых ложек, налил воды в обыкновенный стакан почти до края. Дал настояться около часу, после чего выжал размокшую массу (корень, стебель и листья) через полотно несколько раз, постоянно смачивая ее тою же жидкостью. Выжатая жидкость была зелено-коричневого цвета (цвета *надписано другим почерком и другими чернилами*) и имела горький, но не неприятный вкус. Запах был сильный, характеристичный, но не неприятный. Выпив около стакана этой горькой жидкости так, как пьют лекарство, т. е. не обращая внимания на не особенно хороший вкус, я не почувствовал никакого особенного действия. Не думаю, чтобы виною этого

была слабость настоя, а скорее отсутствие слюны, которая производит брожение жидкости и делает напиток кеу одуряющим.

*19 апреля.* Дождь лил всю ночь и все утро и наполнил 480 делений моего дождемера.

*20 апреля.* Зайдя в Горенду, я сидел в ожидании ужина на барле. От нечего делать взял в руки лежавшую на земле стрелу и, заметя обломанный конец, вынул нож, чтобы заострить его, так как туземцам эта операция, производимая кремнем, не очень легка и отнимает много времени. Стоящий около меня Вангум объяснил, что стрела сломалась, будучи пущена в маба <[...]> (*В рукописи пропуск*). Когда я спросил, убит ли маб, он отвечал, что нет, что он находится в соседней хижине. Я отправился или, вернее, влез в нее (так высоки пороги и так малы двери) и в полумраке рассмотрел белую, висящую у потолка массу, которая оказалась мабом. Хижина была в два этажа, и животное висело, крепко привязанным за хвост головою вниз. Желая рассмотреть его ближе, я сказал, чтобы его вынесли из хижины. Вангум раковиною перерезал лиану, привязанную к хвосту маба, который при этом ухватился передними лапами за [...] (*В рукописи пропуск*. и с такою силою, что Вангум, ухвативший его за хвост обеими руками, не мог стащить с места, так как животное вонзило свои крепкие, острые когти в дерево. Прежде чем я мог остановить его, Вангум с силою ударил толстою палкою по передним ногам маба, так что от боли животное должно было уступить и было, наконец, стащено вниз. Держа его за хвост, чтобы не быть укушенным, Вангум выбросил его из хижины. Я последовал за ним.

Бедное раненое животное сердито разевало рот при каждом моем движении, показывая свои длинные нижние резцы и серо-красноватый язык, но не пробовало убежать. Оно было около 50 см длины, серовато-белого цвета. Мех был мягок и густ, волоса, однако же, не длинны. Жирное тело не могло держаться на коротких ногах, снабженных длинными согнутыми когтями. Когда, собравшись с духом, маб вздумал бежать, то это не удалось ему на ровной земле. Он сделал несколько неуклюжих движений, остановился и прилег на сторону; может быть, это случилось потому, что животное не оправилось еще от сильного удара палкою по передним ногам или от раны стрелою.

Желая приобрести маба, я сейчас же предложил за него нож, который для туземцев был бы хорошею ценою за животное, и спросил, кому он принадлежит. Оказалось, что настоящего владельца его не было, потому что он был пойман следующим образом. Утром двое туземцев в одно и то же время заметили животное, которое спускалось с дерева почти что у самой деревни. Когда они бросились ловить его, испуганный маб, не видя другого спасения, влез быстро на отдельно стоящую пальму, после чего в ловле приняло участие полдеревни: один выстрелил из лука, ранил животное слегка в шею, другой влез на дерево и сбросил его, остальные поймали его уже внизу. Было решено съесть его сообща, и уже приготавливали костер, чтобы опалить его густую шерсть. Мое предложение поэтому очень озадачило туземцев. Каждому хотелось получить нож, но никто не смел сказать: «Животное мое». Мне отвечали, что дети в Горенду будут плакать, если им не дадут поесть мяса маба.

Я знал очень хорошо, что если я возьму животное и унесу его домой, никто из жителей Горенду не посмеет воспротивиться этому; но мне противно было совершить такую несправедливость и силою завладеть чужою собственностью. Я объявил поэтому стоящим в ожидании моего решения туземцам, что пусть люди Горенду съедят маба, но что голову его я беру себе. Обрадованные таким оборотом дела, несколько человек бросилось помогать мне. Тупым ножом, за неимением другого, перепилил я шею несчастного животного, которое во время этой варварской операции не испустило ни единого звука. Когда я мыл покрытые кровью руки, я вспомнил, что надо было отрезать переднюю и

заднюю ногу, но маб был уже на костре, и я должен был довольствоваться полуобугленными конечностями. Я успел спасти еще часть цепкого голого хвоста, который очень похож на длинный палец и покрыт в разных местах роговыми бородавками.

*21 апреля.* Срисовал морду, ноги и хвост маба, отпрепарировал череп, который оказался отличным от черепов, полученных в Теньгум-Мана; мех у той разновидности был также черный с желтоватыми пятнами. Вынул мозг, срисовал его, сделал несколько разрезов и т. д. Когда я занимался этим, я услышал легкий шорох. Большая ящерица, по крайней мере метра полтора длины, собирала под верандою обрезки мускулов маба, которые я выбросил, препарируя череп. Пока я схватил заряженное ружье, ящерица, быстро пробежав по площадке перед домом, скрылась в лесу. Я сделал несколько шагов и был остановлен странным звуком над головою. Высоко между зеленью я заметил красивый гребень черного какаду. Он, должно быть, увидел меня и с криком улетел в лес. В то же время услышал падение ореха кенгара (*Canarium commune*). Обойдя дерево, я увидел другого какаду, который сидел еще выше и молча раскусывал твердую скорлупу ореха *Canarium*. Я рискнул выстрелить, и большая птица, махая одним крылом (другое было прострелено), упала вниз. Несколько дробинок пробили череп, глаз был залит кровью. Какаду бился здоровым крылом и рыл клювом землю. Бамбуковая палка в 3 см в диаметре, схваченная клювом, была изгрызена в щепки. Он упал, наконец, на спину, открыл широко клюв и усиленно дышал. После продолжительного дыхания он совершенно мог закрыть мясистым языком все отверстие рта, хотя клюв был раскрыт. Язык, как хорошо прилаженный клапан, прижатый к небу, замыкает совершенно рот. Эта способность (вероятно, встречающаяся и у других птиц) несомненно имеет значение, например, при полете птиц. Какаду недолго заставил ждать меня, я скоро мог начать препарировать скелет. Я смерил расстояние между концами крыльев, осторожно отпрепарировал красивый хохол, выдернул большие перья хвоста, которыми туземцы украшают свои гребни. Они действительно красивы, черно-матового цвета с голубоватым отливом.

Несмотря на пароксизм лихорадки, я отпрепарировал тщательно скелет, причем вес отрезанных мускулов равнялся приблизительно 2 фунтам; вес же всей птицы был около 4 1/2 фунтов. Срубленные отрезки мускулов какаду дали нам по чаше (сделанной из кокосовой скорлупы) хорошего бульона. Я должен сказать, что посуда мало-помалу заменилась более примитивною, которая не так бьется, как фарфор или фаянс. Я наделал около 10 чаш из скорлупы кокосовых орехов, и они заступили постепенно место разбитых тарелок и блюд.

*23 апреля.* В Гумбу трое туземцев занимались плетением большой корзины для ловли рыбы. Работа в высшей степени основательная и прочная. Корзина почти вся состоит из бамбука и довольно замысловатой формы. Несколько девочек и женщин проделывали разные фокусы длинным, со связанными концами шнурком. При этом они употребляли не только пальцы рук, но и пальцы ног.

Пришлось поспешить вернуться домой, так как я почувствовал приближение пароксизма лихорадки. Еле-еле добрался домой и лег сейчас же, как только пришел. Пароксизм был почему-то сильнее обыкновенного. Он прошел, однако ж, к 6 часам, оставив после себя большую слабость.

*25 апреля.* Вчера был опять пароксизм. Днем погода стояла очень хорошая по обыкновению, ночью же шел сильный дождь. SO все еще нет.



26 апреля. Вчера в Бонгу пришла пирога из Били-Били; сегодня с раннего утра толпа моих знакомых расположилась перед хижиной. Между пришедшими были также 4 человека из деревни Рай. Эта деревня лежит на юго-восточной стороне залива, за рекой [...] (*В рукописи оставлено место для названия*), и я в первый раз видел перед собою жителей с того берега. Внешностью и украшениями они не отличаются от здешних.

Каин просил отточить ему маленький топор. Я ему как-то прежде дал обломок железа от сломанного ящика. Он очень аккуратно сделал ручку топора по образцу обыкновенных ручек каменных топоров, но вместо камня он вложил кусок данного мною железа, прикрепив его к ручке, совершенно как туземцы прикрепляют камни. Он пробовал отточить железо на камне, что ему, однако же, не совсем удалось, почему он привез свой новый топор в Гарагасси. Из этого, как из многих подобных примеров, видно, что туземцы с радостью примут и будут употреблять европейские орудия при первом представившемся случае. Мои гости сидели долго и, наконец, перед уходом люди Били-Били, наслышавшись в Бонгу и в Роренду о моих «табу», которые убивают птиц на высоких деревьях, а также могут убивать людей, попросили меня показать им «табу» и выстрелить раз, вероятно, чтобы разнести об этом описания и рассказы далее по деревням. Люди из Рай-Мана очень боялись и просили не делать этого, т. е. не стрелять. Другие, однако ж, их пристыдили, так что все стали упрашивать меня удовлетворить их любопытству, и я согласился.

Когда я вынес ружье, то мои папуасы, как стадо баранов, сгруппировались очень близко один к одному. Многие обхватили соседей рукою в ожидании страшного происшествия.

Когда раздался выстрел, они все разом, точно снопы, повалились на сторону; ноги их так тряслись, что они даже не могли усидеть на корточках.

Я уже давно опустил ружье и рассматривал группу лежащих, когда некоторые осмелились взглянуть в мою сторону, поднимая немного голову и отнимая руки от ушей, которые они заткнули, как только раздался выстрел. Было интересно видеть выражение страха, написанного на их лицах: рты были полуоткрыты, язык двигался, но еще не мог внятно произносить слова, глаза также были открыты более обыкновенного. Трясущейся рукою многие из них делали знаки, чтобы я унес страшное оружие.

Выйдя снова из хижины, я застал туземцев в оживленном разговоре. Они передавали друг другу свои впечатления и были очень расположены скорее уйти. Я успокоил их, говоря, что ружье мое может быть опасным только для дурных людей, а для хороших, как они, у меня есть табак, гвозди и т. д. Если бы я не видел сам, то с трудом мог бы себе представить такой страх от ружейного выстрела у крепких, взрослых людей. В то же время я заметил, что страх туземцев непродолжителен и что они скоро привыкают к этому аффекту их нервной системы. Когда они ушли, я отправился с ружьем в лес, где наткнулся на трех туземцев. Один играл на папуасской флейте, состоящей из простой бамбуковой трубки в 25 мм в диаметре, закрытой с двух концов, но с двумя отверстиями по бокам, внизу и сверху; двое других были заняты около толстого гнилого пня, который они прилежно рубили каменными топорами; рыхлая гниль так и летела в разные стороны. Из этой массы вываливались белые жирные личинки, которые сотнями пробуравливали лежащий ствол.

Порубив некоторое время, они останавливались и с большим аппетитом жевали и глотали толстые личинки, иногда обеими руками кладя их в рот. Поев достаточное количество, одни снова принимались за флейту, другие за топоры. Они имели очень веселый вид, лакомясь таким образом и принимаясь за музыку. Оригинально то, что в разные периоды

года у туземцев в ходу различные музыкальные инструменты и что это сопряжено как бы с характером употребляемой пищи; так, например, тьюбин они употребляют, когда едят бау; при аяне он лежит у них в стороне. Когда они едят свинью, то трубят в большие бамбуковые трубы, бьют в барум и т. д.

*29 апреля.* Подходя к Бонгу, увидел вытасченную на берег большую пирогу, совершенно похожую на те, которые строятся в Били-Били. Она принадлежала жителям Гада-Гада. Увидев меня, они попросили посидеть с ними и хотя видели меня в первый раз, но все знали мое имя очень твердо. Между ними и жителями Митебог я встретил людей с очень симпатичными физиономиями. Выражение лица некоторых молодых папуасов было так кротко и мягко, что подобные физиономии, помимо цвета кожи, представляли бы исключение даже между так называемыми цивилизованными расами. Мои соседи имеют вид гораздо более суровый, и обращение их не такое предупредительное; вообще они составляют переход между островитянами и жителями горных деревень. Украшений больше и сделаны они гораздо тщательнее; вероятно, их образ жизни оставляет им более свободного времени. Пока в деревне для меня приготовляли ужин, я обратил внимание на выделку большого бамбукового гребня; единственным орудием служила при этом простая раковина: нельзя было не подивиться терпению и искусству рабочего. Несколько мальчиков и девочек, лет 8 или 9, совершенно голых, таскали сухие пальмовые ветви, вероятно, для кровли. Они возвращались обыкновенно бегом, стараясь перегнать друг друга; длинные туловища и короткие ноги девочек невольно обращали внимание сравнительно с легким, свободным бегом длинноногих мальчишек.

Когда гости с островов Гада-Гада и Митебог собрались в путь, я заметил, что между подарками деревни Бонгу, состоявшими из большого количества таро в корзинах, находилась также одна пустая бутылка и 3 гвоздя, как большие драгоценности. Таким образом, вещи европейского происхождения могут странствовать далеко и податься, может быть, повод к неверным соображениям, предположениям и т. д.

*30 апреля.* После весьма счастливой охоты (мне удалось убить шесть больших птиц в один час) я направился в Гумбу, желая отдохнуть и напиться воды кокосового ореха; дорогой я заметил несколько деревьев со следами вырезанных фигур и орнаментов, вероятно, очень давнего происхождения.

Придя в Гумбу, не нашел положительно ни одной души в целой деревне, не заметил даже ни одной собаки.

Ульсон очень обрадовался моей добыче, уверяя меня, что часто чувствует голод, чему я не очень удивился, так как частенько сам чувствую, что недостаточно ем.

*2 мая.* Данные туземцам семена тыквы, посеянные месяца 2 или 3 тому назад, принесли первые плоды. Туй и Лалу пришли утром пригласить меня прийти вечером «поесть тыкву»; я был удивлен, что они запомнили это имя, и нашел, что оно вошло в общее употребление.

Отправившись рано в Горенду, я застал Бонема с другим туземцем, делающим парус пироги. Работа была нехитрая: между 2 шестами были протянуты довольно часто тонкие шнуры из [...] (*В рукописи оставлено место для названия*), один из туземцев обломком раковины резал в длину листья пандануса, отдирая колючий край листьев и вырезая среднюю жилу, так что из каждого получались 2 длинные полоски, которые переплетались между натянутыми шнурами. Я присел к этой группе, и скоро пришло еще несколько человек туземцев из лесу с длинными шестами. Эти шесты были прямые, и все

ветки и веточки тщательно устранены, вероятно, помощью раковины [...] (*В рукописи оставлено место для названия*). Кора была стянута с палок очень искусно, вся зараз, затем снова вывернута, освобождена тщательно от верхней кожицы и постепенно разбита на плоском камне ударами толстой короткой палки. Двое воодушевляли работающих заунывными звуками тьюбина.

Оказалось, что Туй пришел пригласить меня, чтобы я показал им как следует есть тыкву, так как это была первая, которую им случилось видеть. Я разрезал ее, положил в горшок с водой, где она скоро сварилась. Туземцы обступили меня, желая посмотреть, как я буду ее есть. Хотя я и не люблю тыкву, но решил показать, что ем ее с аппетитом, чтобы и туземцы попробовали ее без предубеждения. Но новое кушанье все-таки показалось им чем-то особенным, и, наконец, они порешили есть его с наскобленным кокосовым орехом, и в этом виде скоро уничтожили всю тыкву.

4 мая. Слышанные вечером удары барума в Бонгу продолжались от времени до времени всю ночь. Около полудня пришли несколько туземцев с приглашением идти с ними поест свинью и послушать их арии. Не желая нарушать хорошие отношения, я пошел с ними.

В деревне не было ни одного мужчины — одни женщины и дети; зато на площадке в лесу я был встречен продолжительным завыванием со всех сторон, после чего все разом стали звать меня присесть к ним. Я выбрал место немного в стороне, чтобы лучше видеть происходящее. Человек 10 было занято приготовлением еды, несколько других образовывали в другом углу группу, усердно занятую жеванием и процеживанием кеу, действие которого уже заметно было на многих физиономиях; большинство сидело, ничего не делая, и вело оживленный разговор, причем я часто слышал имя «Анут» и «тамо-Анут» (В точности я не мог определить, где живут эти люди; мне известно только, что где-то за рекою, около Марагум-Мана, и составляют не одну, а много деревень).

Про них мои соседи рассказывали, что они хотят напасть на мою хижину, слышав, что у меня много ножей, топоров и красных «маль», а что нас всего двое — я и Ульсон. Будучи уверен, что это может случиться не без согласия моих знакомых из Бонгу или Гумбу, которые будут весьма не прочь разделить с теми людьми добычу, я счел подходящим обратить все это в шутку и прибавить, что не мне будет худо, а тем, которые придут в Гарагасси, а затем переменял разговор, спросив, не пойдет ли кто со мною в Энглам-Мана. Мне ответили, что Бонгу с Энглам-Мана не в хороших отношениях и что если пойдут туда, то будут убиты, но что жителям Гумбу туда идти можно.

Когда кушанье было готово и разложено по порциям, один из туземцев побежал в деревню, и мы скоро услышали удары барума. При этом все присутствующие на площадке стали кричать изо всех сил, другие принялись трубить. Шум был оглушающий и доставлял туземцам заметное удовольствие.

На некоторых влияние кеу было хорошо заметно. Они плохо стояли на ногах, язык не слушался их, а руки тряслись. Лицо их выражало состояние, которое немцы называют Katzenjammer (*Похмелье (нем)*). По случаю пира у туземцев головы и лица были недавно раскрашены: у одних вся голова была намазана черною, у других — красною краскою; у третьих голова была красная с черным бордюром, у иных черная с красным бордюром; только у стариков ни лица, ни головы не были раскрашены. Вообще эти последние употребляют только черную краску для волос и лица и почти не носят никаких украшений на шее.

6 мая. Вечером был в Горенду. Инго нарисовал мне в записную книгу фигуры разных животных и людей. Я удивлялся твердости руки при употреблении нового для него совершенно инструмента, как карандаш, и прямоте линий. Узнал, между прочим, что нос и уши туземцев пробуравливаются или заостренной бамбуковой палочкой, или «дигланом» аяна (шипом *Dioscorea*). Светлые пятна на руках и ногах мужчин, на плечах и грудях женщин производятся не только небольшими кусочками горячей древесной коры, но и раскаленным камнем.

Только сегодня, т. е. в конце восьмого месяца, смог я добиться папуасских слов (диалект Бонгу), как: отец, мать, сын.

Я воспользовался приходом 4 туземцев, чтобы поднять шлюпку еще выше на берег, чем прежде; для этого надо было снести вниз толстое бревно и подложить под киль. Я и Ульсон с большим усилием пронесли его шагов 20, и потом, донеся до берега, я сказал, что теперь его можно катить вперед по песку, но туземцы, очень удивленные нашей силой, хотели показать свою: все четверо приступили к бревну, подняли с большим трудом и, крича и пытая, почти бегом донесли его до шлюпки. Так поступают они при каждом случае, где требуется сильное напряжение: они бросаются с криком и азартом, постоянно воодушевляя друг друга восклицаниями, и, действительно, успевают сделать то, что навряд бы могли сделать, действуя медленно.

14 мая. Много посетителей: из Энглам-Мана человек 15 и 20 из Ямбомбы, Тути, Били-Били и др.

Нога очень болит. Маленькие ранки, сделанные при экскурсии в Энглам-Мана (*В рукописи ошибка. Следует: Теньгум-Мана*), слились вследствие небрежного за ними ухода в несколько больших, так что я не могу ходить. Из Горенду принесли мне роскошный ужин: несколько вареных [...] (*В рукописи оставлено место для названия*) с вареным таро, печеный хлебный плод, затем саго с натертым кокосовым орехом.

22 мая. Нарывы на ноге еще не прошли; не мог с ними нянчиться, так как приходится ежедневно ходить на охоту, что бы не голодать. Сегодня в Горенду туземцы серьезно попросили меня прекратить дождь. На мой ответ, что сделать этого я не могу, они все хором заявили, что могу, но не хочу.

23 мая. Пришедший Туй рассказал, что только что вернулся из Богати, где многие жители окрестных деревень собрались по случаю смерти одного из них. Вот почему, объяснил мне Туй, мы слышали много раз в продолжение вчерашнего дня удары барума. Это делается, продолжал он, когда умирает мужчина; при смерти женщин этого не бывает. Буа принес мне экземпляр маба, и я приобрел его за нож. Препарируя скелет, я отдал обрезки мяса Ульсону, который изрубил их для супа, так как вареное и печеное мясо вследствие ароматичности и приторности мне не нравится.

25 мая. При восходе солнца послышался в Горенду барум, но не такой громкий и продолжительный, как обыкновенно. Пришедший Туй сказал мне, что барум был слышен по случаю смерти одного из жителей Гумбу и что жители Горенду и Бонгу отправляются в Гумбу. Я поспешил напиться кофе, чтобы идти туда же. Дорогою встретил целую вереницу туземцев, вооруженных копьями, луками и стрелами. Завидя меня, все они остановились, чтобы пропустить меня вперед. Когда они узнали, что и я иду в Гумбу, было заметно, что они сразу не могли решить, что им делать: отговаривать меня или нет. После общего совещания они предпочли молчать.

Выйдя к морю, мы догнали целую толпу женщин; многие шли с грудными детьми в мешках или на плечах, смотря по возрасту. У входа в деревню наша группа остановилась; мне сказали, что женщины должны пройти вперед; мы пропустили их и скоро услышали их плач и вой, очень похожий на вой здешних собак. Когда я подошел к первым хижинам, меня предупредил один из спутников, чтобы я был осторожнее, так как в меня может попасть стрела или копьё. Не понимая, в чем дело, я отправился далее. Действительно, с площадки, окруженной хижинами, неслись крики, иногда очень громкие речи. Сопутствовавшие мне туземцы, держа в левой руке лук и стрелы, а копьё наперевес в правой, беглым шагом поспешили на площадку и образовали ряд против первой группы уже находившихся там.

Я остановился в таком месте, что мог видеть происходящее в деревне и быть в то же время заслоненным от стрел. Между обеими друг пред другом стоящими группами или шеренгами нападающих и защищающихся выступил один из жителей Гумбу (кажется, родственник умершего). Он ораторствовал очень громко, подкрепляя свои слова энергичными движениями, кидаясь в разные стороны и угрожая наступавшим своим копьём. От времени до времени являлся с другой стороны противник и также действовал более гортанью и языком, чем луком и копьём. Некоторые пускали свои стрелы, очевидно, стараясь не задеть никого; крик, беготня и суматоха были значительны. Туземцы выступали поочередно, не вместе; навстречу выходил также один противник; смотря на эту воинскую игру, я не мог не любоваться красивым сложением папуасов и грациозными движениями гибкого тела. На меня оглядывались с удивлением, как на непрошенного гостя.

Наконец, набегавшись и накричавшись, все воины уселись в несколько рядов на площадке; за ними расположились женщины с детьми. Стали курить и не так громко, как обыкновенно, разговаривать. Несколько человек занялись приготовлением «папуасского гроба»: были принесены отрезки (*foliorum vaginae*) разных пальм и сшиты лианами, так что образовали два длинных куска. Эти куски были положены крест-накрест и снова скреплены посредине, затем концы загнуты так, что двойная средняя часть образовывала дно в 50 см квадрата. Загнутые концы образовали стенки большой коробки в 1 м вышины. Чтобы стенки не распадались, коробка была обвязана в нескольких местах лианами. Туземцы не спешили, курили и разговаривали вполголоса; вой в хижине покойника то усиливался, то стихал. Немного в стороне варился в большом горшке бау, который, еще совсем горячий, был положен на листья, связан в пакет и повешен на сук дерева около хижины, у дверей которой висела убитая собака. Мне объяснили, что ее потом будут есть гости, присутствовавшие при погребении.

Несколько человек вошло в хижину умершего и скоро показались в дверях, неся покойника, который был уже согнут в сидячее положение, так что подбородок касался колен; лицо смотрело также вниз, рук не было видно; они находились между туловищем и согнутыми ногами. Все тело было обвязано поясом покойника, чтобы удержать члены в желаемом положении; трое туземцев несли мертвого; двое придерживали его по сторонам, третий, обхватив туловище и ноги руками, собственно нес его.

Женщины, из которых одна была мать умершего, а другая жена, заканчивали процессию, придерживая концы пояса, который обхватывал тело покойника. Обе они были измазаны черною краскою, очень небрежно, пятнами. На них не было никаких украшений, и даже обыкновенная, весьма приличная по своей длине их юбка была заменена сегодня очень незначительным поясом, от которого висели спереди и сзади обрывки бахромы — также черной, которые едва покрывали тело. Все показывало, что они умышленно нарядились

так, чтобы показать, что не имели ни времени, ни желания заняться своим костюмом. Обе они плаксивым голосом тянули печальную песню.

Когда покойник показался у дверей, все присутствующие смолкли, встали и хранили молчание до конца. Покойника опустили в вышеописанную коробку, стоявшую посредине площадки; голову покрыли «тельруном» (мешком, в котором женщины носят детей) и потом, пригнув боковые стенки коробки, связали их над головою так, что коробка приняла форму трехсторонней пирамиды; затем обвязали очень тщательно лианами и привязали верхний конец к довольно толстому шесту. Во время этой операции несколько туземцев выступили из рядов и положили около коробки с телом несколько сухих кокосовых орехов и новый, недавно выкрашенный пояс. Двое туземцев взяли концы шеста, к которому был привязан сверток с покойником, на плечи и понесли обратно в хижину; третий взял кокосы и пояс и последовал за ними. Этим церемония кончилась. Присутствовавшие разобрали свое оружие и стали расходиться. Я пошел в хижину посмотреть, куда положат тело, заруют ли или оставят его просто в хижине.

Последнее предположение оправдалось. Шест был поднят на верхние перекладыны под крышею, и пирамидальная коробка закачалась посреди опустевшей хижины. Вдова, уже старая женщина, принялась раскладывать огонь немного в стороне.

Возвращаясь домой, я догнал туземцев; человек 40 зашли ко мне в Гарагасси поболтать о покойнике, покурить, попросить перьев и разбитого стекла для бритвы.

28 мая. Отправился в Гумбу, чтобы найти спутников, желающих идти со мною в Энглам-Мана. Двое с удовольствием согласились. У одной хижины заметил несколько туземцев, делавших якоря для своих сетей. Якорь состоял из обрубка довольно толстого ствола с четырьмя или пятью ветвями, расходящимися почти в одном и том же месте. Эти ветки, обрубленные, а потом заостренные, образовывали лапы якоря. Вокруг средней части ствола были прикреплены лианами камни, оплетенные таким образом, что, казалось, лежали в корзине. Тяжесть камней предохраняет якорь от всплытия.

Недалеко от нас сидела [...] (*В рукописи, оставлено место для имени*), дочь Бугая, девочка лет 10, держа большой плоский камень почти что между ног, и занималась стачиванием раковины из рода *Copus* в плоские кольца, употребляемые жинщинами и девочками в виде ожерелья. Камень был смочен водою, и работа быстро подвигалась вперед.

29 мая. Несмотря на головную боль и головокружение, я решил не откладывать моей экскурсии в Энглам-Мана и идти вечером в Гумбу, а оттуда на следующее утро направиться в Энглам-Мана. На всякий случай приняв 0,3 grm. хины, я отправился в Гумбу, сопровождаемый 3 мальчиками из этой деревни, которым дал нести нужные для экскурсии вещи.

Так как уже темнело, я отправился вдоль морского берега и таким образом добрался до деревни, при входе в которую ожидала меня молодежь Гумбу. С криками «Маклай гепа» (Маклай идет), «Эмэ-ме» [...] (*В рукописи пропуск*) выхватили мои вещи у несших их мальчиков и проводили меня до площадки, где я нашел целое собрание, занятое ужином. Тамо сидели на барле, маласси — на земле около хижин. Как я узнал, сегодня был ужин в честь или в воспоминание умершего, по случаю чего ели свинью, но одни только тамо; маласси же довольствовались одним бау. Как тамо-боро (большому человеку) и как гостю передо мною поставили большой табир с таро и с большим куском свинины. Немного в стороне на циновке около костра лежал Кум и просил меня помочь ему, жалуясь на

сильную боль в боку и в животе. Я дал ему несколько капель *Tincturae opii*, и на другой день Кум прославлял мою воду, т. е. лекарство.

После ужина около меня собралась вся деревня. Мы сидели в совершенной темноте. Костра не было, а луна восходила поздно. Меня расспрашивали о России, о домах, свиньях, деревьях и т. п. Перешли потом к луне, которую, очевидно, смешивали с понятием о России, и очень хотели знать, есть ли на луне женщины, сколько у меня там жен; спрашивали о звездах и допытывались, на которых именно я был, и т. д.

Каждое мое слово выслушивали с большим вниманием. Стало холодно и сыро, и я пожелал идти спать. Несколько человек проводили меня в обширную буамрамру, принадлежавшую Алуму, одному из туземцев, который должен был идти со мною. Более половины буамрамры в длину было занято широкими нарами, другая — двумя большими барумами, так что для прохода оставалось немного места. Я прозяб, сидя на площадке, и был доволен, что могу выпить чаю, так как с собою взял все необходимое для этого. На пылающем посреди хижины костре быстро вскипела вода. Так как в буамрамре было недостаточно светло, хотя огонь костра весело пылал, я зажег стеариповую свечку. Отыскал чистую доску и, покрыв ее салфеткой, разложил все вещи, необходимые для чаепития, т. е. небольшой чайник, жестянку с сахаром, другую — с бисквитами, стакан и ложку. Все эти аксессуары приготовления моего ужина до того удивляли туземцев, что они даже не говорили, а молча, с напряженным вниманием следили за каждым моим движением. Я уже так привык не стесняться десятками глаз, устремленными на меня в упор и следящими за каждым моим движением, что нисколько не стеснялся, а поспешил выпить чай, чтобы отдохнуть. Я постлал на барлу одеяло, красный цвет которого и мягкость возбудили взрыв удивления, и, сняв башмаки, улегся на нары. Человек 5 или 6 оставались в хижине и продолжали болтать, но одного жеста с моей стороны было достаточно, чтобы выслать их всех вон. Скоро все стихло в деревне, и я заснул.

Я был разбужен шорохом, как будто в самой хижине; было, однако ж, так темно, что нельзя было разобрать ничего. Я повернулся и снова задремал. Во сне я почувствовал легкое сотрясение нар, как будто бы кто лег на них. Недоумевая и удивленный смелостью субъекта, я протянул руку, чтобы убедиться, действительно ли кто лег рядом со мной. Я не ошибся; но, как только я коснулся тела туземца, его рука схватила мою, и я скоро не мог сомневаться, что рядом со мной лежала женщина. Убежденный, что эта оказия была делом многих и что тут замешаны папаши и братцы и т. д., я решил сейчас же отделаться от непрошенной гостьи, которая все еще не выпускала моей руки. Я поднялся с барлы и заявил, что я спать хочу, и, не зная все еще достаточно хорошо туземный язык, заметил: «Маклай нангали авар арен» (*Анучиным исправлено в изд. 1923: «Ни гле, Маклай нангели авар арен»*) (Ты ступай, Маклаю женщин не нужно) и улегся снова на другом конце барлы. Впросонках слышал я шорох, шептанье, тихий говор вне хижины, что подтвердило мое предположение, что в этой проделке участвовали не одна эта незнакомка, а ее родственники и другие. Было так темно, что, разумеется, лица ее не было видно. На следующее утро я, разумеется, не счел подходящим собирать справки о вчерашнем ночном эпизоде: такие мелочи не могли интересовать человека с луны. Я мог, однако ж, заметить, что многие знали о нем и о его результатах. Они, казалось, были так удивлены, что не знали, что и думать.

Хотя я поднялся часов в 5, мы собрались в путь не ранее 7, когда солнце уже значительно поднялось. Мой багаж я разделил между двумя туземцами, и несмотря на то, что каждый нес не более 18 фунтов или даже менее, оба жаловались на тяжесть ноши.

Лесом, потом между высокими бамбуками и открытым полем, поросшим густым унаном, мы пришли к реке Габенеу, которая в этом месте оказалась широкою и очень быстрою. Вода точно кипела; я сошел в нее, и единственно с помощью туземцев, которые окружали меня, я мог перебраться на другую сторону. Течение было так сильно, что удержаться на ногах не было возможности. Пройдя через песчаную отмель, нам снова пришлось идти в воде, переправляясь через другой рукав. Потом я оделся, и мы вошли в лес, прохлада которого была очень приятна после прогулки под солнцем, действие которого я нашел возможность с успехом парализовать, натирая себе зад шеи, уши, нос и щеки глицериновым желе. Эту операцию я повторяю раза два или три, как только чувствую, что кожа высыхает; без глицерина, какого-нибудь другого масла или жира эффект солнечного жара в этих странах на кожу мог бы быть серьезным и по меньшей мере неприятным.

Перейдя невысокий гребень холмов, местами покрытых лесом, местами унаном, часа через 2 ходьбы от реки Габенеу мы подошли к песчаному берегу небольшой речки Альгумбу, протекавшей между красивыми лесистыми холмами. Берег в одном месте представлял длинную песчаную полосу, и моим спутникам вздумалось попробовать здесь свое искусство стрельбы из лука. Для этого они сняли с плеч свои ноши и один за другим пустили стрелы, натянув, сколько было силы, тетиву своих луков. Я смерил шагами расстояние упавших на песок стрел и получил 46, 47, 48 шагов (т. е. от 46—50 м), но на этом крайнем расстоянии стрела уже совсем теряла свою силу и только едва втыкалась в песок. Метрах в 20—25 эти стрелы могут нанести серьезную рану. Замечу при этом, что между моими спутниками не было ни одного тамо, а молодые люди и мальчики от 14—25 лет.

Мы расположились отдохнуть около речки. Я взял с собою остатки от вчерашнего ужина, чтобы было что закусить в дороге, и предложил часть моим спутникам, но они все отказались под предлогом, что с этим таро варилась свинья, которую ели только тамо, почему маласси не могут касаться до него, а если они это сделают, то заболеют. Это мне было сказано очень серьезно, с полною верою в то, что это так, и я снова убедился, уже не в первый раз, что понятие «табу» существует здесь, как и в Полинезии.

Отсюда началась самая трудная часть дороги: почти все в гору и большею частью вдоль открытых склонов гор, на которых рос высокий унан, коловший и резавший мне лицо и шею своими верхушками. Туземцы, чтобы защитить свое далеко не нежное тело от царапин унана, держали перед собою ветви в виде щитов. Тропинки не было видно. Одни ноги чувствовали ее, не находя препятствия двигаться вперед. Пропустив человека, унан снова замыкал тропинку. Иногда он представлял значительное затруднение, так что его приходилось поднимать копыями. Солнце давало себя мучительно чувствовать.

На значительной высоте, там, где уже начались плантации Энглам-Мана, открылась далекая панорама: были видны несколько островков у мыса Дюпере; берег от Гумбу далеко простирался на NO и, кроме реки и речки, через которые мы перешли, виднелись еще две: одна небольшая [...] (*В рукописи оставлено место для названия*), а другая не меньше реки Габенеу [...] (*В рукописи оставлено место для названия*). Пока я записывал и рисовал виденное, мои спутники усердно кричали, чтобы вызвать кого-нибудь из плантаций. Наконец в ответ на их зов послышались женские голоса. Мои спутники обступили меня, так что собиравшимся женщинам меня не было видно. Когда последние подошли, спутники мои расступились, и женщины, прежде никогда не выдавшие белого, остановились передо мною как вкопанные. Они не могли ни говорить, ни кричать, наконец, опомнившись немного, с криком стремглав кинулись вниз при страшном хохоте моих проводников. Младшая из женщин, вздумавшая оглянуться, оступилась при этом и растянулась, к счастью для нее, на мягком унана. Мои спутники сказали ей что-то вслед,



что заставило ее взвизгнуть, быстро вскочить и последовать за остальными. Мы поднялись к небольшому леску; здесь, обменявшись с туземцами несколькими словами, Обор сломал ветку, прошептал что-то над нею и, зайдя за спину каждого из нас, поплевал на него и ударил раза 2 веткою по спине, затем, изломав ветку на маленькие кусочки, спрятал их в лесу между хворостом и сухими листьями.

Не умея добывать огонь, туземцы ходят, как я уже не раз говорил, с головнями, особенно отправляясь в более далекие экскурсии. Так было и сегодня: двое из сопровождавших меня запаслись огнем, но узнав, что я могу добыть его, как только они этого пожелают, очень обрадовались и бросили лишнюю ношу. При остановках мне, к величайшему удовольствию спутников моих, уже случалось зажигать спички и давать им, таким образом, возможность разводить маленький огонек, чтобы высушить табак, а затем зеленый лист, в который они его завертывают. Здесь я доставил им в 3-й раз удовольствие посмотреть на вспыхивающую спичку и покурить.

Крики моих проводников были услышаны жителями Энглам-Мана, которые, завидя меня, тотчас же умили скорость шагов и не без робости подошли к нам. После обычных приветствий, жевания бетеля и курения мы двинулись далее. Тропинка обратилась в лестницу, состоящую из камней и корней. Местами она была так крута, что даже туземцы сочли нужным вбить между камнями колья, чтобы дать ноге возможность найти опору. В местах, где положительно нельзя было пройти, были построены из бамбука узкие мостики. Вдоль обрывистой стены надо было переставлять одну ногу за другою, чтобы не свалиться. Разрушив немногие искусственные приспособления, деревню можно было в полчаса сделать с этой стороны малодоступною.

Я был рад добраться, наконец, до деревни. Мои ноги чувствовали десятичасовую ходьбу, и первое требование мое по приходе в деревню было дать мне молодой кокосовый орех, чтобы утолить жажду. К великому моему неудовольствию были только старые, воду которых нельзя пить. Зато меня усердно угощали бетелем, предлагали сделать кеу и т. п. Отдохнув немного, я отправился, сопровождаемый целою процессиею, по деревне или по кварталам ее, которых оказалось 3. Хижины здесь были так же малы, как в Теньгум- и Колику-Мана, и вообще деревня эта, как и другие горные, грязнее прибрежных. Зная, что я интересуюсь телумами, меня зазывали во многие хижины, и я удивился множеству виденных телумов сравнительно с числом их в береговых деревнях. Я срисовал некоторые из них. Везде, где только я останавливался, мне приносили орехи арековой пальмы, которыми Теньгум- и Энглам-Мана изобилуют. Вернувшись к хижине, где я оставил вещи, я увидел, что для меня готовят ужин.

Солнце уже садилось. Я выбрал место близ огня и принялся за ужин. Скоро все мужское население Энглам-Мана собралось около меня и моих спутников. Последние много рассказывали обо мне и даже такие пустые мелочи, которые я сам давным-давно забыл и припоминал теперь, при рассказе туземцев. Разумеется, все было очень изменено, преувеличено, пройдя через целый ряд рассказчиков и пересказчиков. Слушая, что обо мне говорилось, причем упоминалось и о луне, и о воде, которую я мог заставить гореть, о выстрелах, о птицах, которых я убиваю в лесу, и т. д., и т. д., мне стало ясно, что здесь меня считают совершенно необыкновенным существом.

Поужинав и не желая приобрести насморк, от которого страдала большая часть населения деревни, я сказал, что хочу спать. Тогда десяток людей бросились с горящими головнями, чтобы показать мне дорогу в небольшую хижину. По сторонам узкого прохода стояли двое нар, одни небольшие, другие побольше. Пока я развертывал одеяло и устраивался на ночь, в хижину набралось так много туземцев, что передние были понемногу совсем

притиснуты к моим нарам. Надеюсь, что они скоро уберутся, я, завернувшись в одеяло, лег, повернув лицо к стене. Жители Гумбу, вероятно, рассказали туземцам, не удержавшись при этом от прибавлений, все диковинные вещи, которые они видели вчера вечером, когда я пил чай, и думали увидеть снова, но ошиблись. Поэтому они уселись у огня, стали говорить, курить, жевать бетель и раздувать костер, увеличивая чад и дым в хижине до того, что глаза стало резать. Мне это очень надоело, и я объявил, что от разговоров Энглам-Мана-тамо уши Маклая болят и что Маклай хочет спать. Это подействовало: все замолкли, но только на время; думая, что я заснул, они снова принялись говорить, сначала шепотом, а затем так же громко, как и прежде.

Так как заснуть мне не удавалось, я вышел из хижины и сказал снова, что хочу спать, что от болтовни Энглам-Мана-тамо уши болят и что дым ест мне глаза.

Ночь была звездная; большая группа туземцев сидела на площадке вокруг костра; когда эти люди узнали, в чем дело, несколько голосов поднялось, вероятно, с выговором мешавшим мне туземцам. По крайней мере последние один за другим выбрались из хижины, куда я вернулся, пропустив последнего.

*31 мая.* Посредственно проспав ночь, я проснулся рано, еще перед рассветом. Вспомнил свою неудачную попытку измерить высоту Теньгум-Мана с помощью аппарата Реньо и стал придумывать средство, как бы снова не испугать туземцев и сделать наблюдение. Придумав подходящий способ, я постарался заснуть, что мне вполне удалось. Было уже совершенно светло, когда я проснулся. Увидев, что в хижине уже было целое собрание туземцев, я нашел время удобным для опыта. Вставая, я стал кряхтеть и потирать себе ногу, и когда туземцы спросили меня, что со мной, я ответил, что нога очень болит. Мои вчерашние спутники стали также охать и повторять: «Самба-борле» (нога болит). Я посидел, как бы что обдумывая, затем встал, говоря: «У Маклая есть хорошая вода: потерять ногу — все пройдет».

Все туземцы поднялись с нар посмотреть, что будет. Я достал мой гипсометр (*Анучинным исправлено на более точное: гипсотермометр*), налил из принесенной склянки воды, зажег лампочку, приладил на известной высоте термометр, сделал наблюдение, записал температуру и, сказав, что мне надо еще воды, сделал опять наблюдение и, записав снова температуру в книжке, слил оставшуюся воду в стакан и уложил весь аппарат в мешок.

Видя, что публики набралось очень много, я снял носок и усердно начал вытирать ногу, наливая на нее воды; затем я снова улегся, сказав, что скоро боль ноги пройдет. Все присели, чтобы посмотреть на чудо исцеления и вполголоса стали говорить о нем. Минут через 10 я начал шевелить ногу, попробовал ступить на нее и, сперва хромя, уложил все вещи, а затем вышел из хижины, уже совсем здоровым, к великому удивлению туземцев, видевших чудо и отправившихся рассказывать о нем по деревне. Это скоро привлекло ко мне разных больных, ожидавших быстрого исцеления от моей воды. Я показал им пустую склянку и сказал, что воды более нет, что в Гарагасси я могу найти для них лекарство.

Приготовление чая, новые вещи и невиданная процедура отвлекли внимание толпы. Я мог срисовать оригинальную хижину, в которой провел ночь. Она стояла позади других, на небольшой возвышенности, состоящей из голой скалы, и постройкою не отличалась от прочих. Фасад ее был метра  $3 \frac{1}{2}$  в ширину, и средняя часть его не превышала 3 или  $3 \frac{1}{2}$  м. Длина хижины равнялась 6 м; крыша по сторонам спускалась до самой земли. Размерами своими она была даже меньше многих других хижин; зато по обеим сторонам узкой и низкой двери, походившей более на окно, стояло несколько телумов. Некоторые из них были в рост человека, а над дверью висели кости казуара, черепух, собак, свиней,

перья птиц, кожа ящериц, клювы Visceros, зубы разных животных и т. п. Все это вместе с телумами и обросшею травой серою старою крышею имело свой особенный характер. Между 4 телумами один обратил на себя мое особенное внимание: он был самый большой, физиономией он не отличался многим от остальных, но держал обеими руками перед грудью длинную доску, покрытую очень неправильными вырезками, похожими на какие-то иероглифы, которые вследствие ветхости почти теряли свои контуры.

Внутренность хижины тоже отличалась от прочих: над нарами был устроен потолок из расщепленного бамбука; там хранились разные музыкальные инструменты, употребляемые только во время «ай». Между прочим, мне показали с таинственностью, говоря при этом шепотом, большую деревянную маску с вырезанными отверстиями для глаз и рта, которая надевалась во время специальных пиршеств; ее название здесь «апн», и это была первая, которую мне пришлось видеть. Наконец, задняя часть хижины была занята тремя большими барумами; большие горшки и громадные табиры стояли на полках по стенам рядом с тремя телумами; под крышей висели нанизанные почерневшие от дыма кости черепах, птиц, рыб, челюсти кускуса и свиньи и т. п.; все это были воспоминания об угощениях, происходивших в этой хижине.

Не успел я кончить эскиз хижины и выпить чаю, как пошел дождь, который постепенно так усилился, что идти сегодня домой оказалось неудобным. Пришлось вернуться под крышу. Имея достаточно времени, с помощью камеры-люциды я сделал портрет одного из туземцев с очень типичной физиономией. Жители здесь оказались очень различного роста, цветом светлее прибрежных, но зато между ними встречаются чаще некрасивые лица, чем внизу. О женщинах и говорить нечего: уже после первого ребенка они везде здесь делаются одинаково некрасивы; их толстые животы и груди, имеющие вид длинного полупустого мешка, почти что в фут длину, и неуклюжие ноги делают положительно невозможную всякую претензию на красоту. Между девочками 14—15 лет встречаются некоторые — но и то редко — с приятными лицами.

Я узнал, что жители соседней деревни, лежащей на NO от Энглам-Мана, называющейся Самбуль-Мана, узнав о моем приходе сюда, явятся познакомиться со мною. Действительно, когда дождь немного перестал, на площадку пришли люди из Самбуль-Мана. Я вышел к ним, пожал руку и указал каждому место полукругом около меня. Когда я смотрел на кого-либо из них, он быстро отворачивался или смотрел в сторону до тех пор, пока я не отводил глаз на другое лицо или на другой предмет. Тогда он в свою очередь начинал рассматривать меня, оглядывая с ног до головы. Меня усердно угощали бетелем; я не чувствую отвращения к нему, но не люблю его, главным образом потому, что вкус его остается во рту очень долго и изменяет вкус всех других съестных продуктов.

Люди из Самбуль-Мана во всем схожи с жителями Энглам- и Теньгум-Мана. У них также элифантиазис и другие кожные болезни встречаются часто; оспа также оставила на многих свои следы. Наречие Энглам-Мана немного отличается от наречия как Самбуль-, так и Теньгум-Мана. Я собрал слова всех трех диалектов.

После непродолжительной сиесты я совершил прогулку в лес; нашел тропинки хуже вчерашних. Видел несколько новых для меня птиц, не встречающихся внизу. После дождя в лесу раздавалось немало птичьих голосов; почти все были мне неизвестны; я убежден, что орнитологическая фауна гор значительно разнится от береговой.

Голод вернул меня в деревню. Один из первых попавшихся мне навстречу туземцев спросил меня, ем ли я кур. Я ответил утвердительно. Тогда принесли двух и при мне размозжили им головы о дерево; затем вместо ошипывания опалили или сожгли перья;

принесли также несколько связок таро и стали его чистить. Все это были приношения отдельных личностей; меня угощала целая деревня. Один из туземцев, чистивших таро, попросил у меня для этого нож, но он не только действовал им хуже и медленнее, беспрестанно зарезая слишком глубоко, но под конец даже обрезался, после чего двое туземцев принялись за приготовление бамбуковых ножей.

Был принесен кусок старого бамбука, каменным топором обрублены оба конца и затем расколоты на тонкие, длинные пластинки, которые, будучи согреты на угольном огне, получили такую твердость, что ими можно было резать не только мягкие таро и ямс, но мясо и даже волосы. Пример этого я увидел здесь же: один из туземцев, нечаянно попав ногою в лужу, обрызгал грязью волоса другого, после чего первый взял один из бамбуковых ножей и стал отрезать большие пучки волос, забрызганные грязью. Дело не обошлось без гримас сидящего, но редким ножом можно резать столько волос зараз, как этой бамбуковой пластинкой. Здесь же я видел бритве волос головы небольшой девочки такую же деревянную бритвою. Это было сделано весьма искусно и успешно, без всякой боли для пациентки.

Туземцы положительно ходили за мною по пятам, целою толпой сопровождали они меня всюду, умильно улыбаясь, когда я глядел на кого-нибудь из них, или без оглядки убегая при первом моем взгляде.

Такая свита везде и повсюду весьма утомительна, особенно когда не можешь говорить с ними и сказать им вежливо, что постоянное присутствие их надоедает.

По случаю дождя все в деревне рано улеглись спать, и я могу записать эти заметки, сидя один у костра.

*1 июня.* Встав до рассвета, я один отправился бродить по деревне и в окрестностях ее, чтобы найти удобное место с обширным видом на горы кругом. Высокие цепи их, одна выше другой, покрытые зеленью до вершин, очень манили меня. Были бы там деревни, я, во всяком случае, скоро отправился бы туда, переходя из одной в другую, все выше и выше. Однако ж высокие горы не населены; я сперва не верил этому, но сегодня убедился: нигде в горах выше Энглам-Мана нет и признаков жилья.

Позавтракав, я стал торопить туземцев к уходу. Человек 12 захотели идти со мною: одни, чтоб нести мои вещи, другие — свинью, подарок туземцев, третьи — ради прогулки. Один из намеревавшихся идти со мною туземцев, старик лет под 60, усердно обмахивал себе шею, спину и ноги зеленою веткою, постоянно что-то нашептывая. На мой вопрос, для чего это он делает, он мне объяснил, что дорога длинна и что для этого нужно иметь хорошие ноги, и чтобы иметь их, он и делает это. Отдав ветку одному из моих спутников, он сказал несколько слов, после чего и этот стал делать то же самое. Принесли горшок с вареным таро; когда содержимое в нем было разложено по табирам для моих проводников из Гумбу и моих новых спутников из Энглам-Мана, один из последних взял тлеющую головню и, подержав ее над каждым блюдом, проговорил короткую речь, желая, чтобы мы благополучно вернулись домой и чтобы с нами не случилось какого-нибудь несчастья.

Вследствие дождя дорога была очень неудобна, но спускаться все-таки было легче, чем подниматься. Мы часто останавливались, чтобы партия женщин Гумбу, возвращавшаяся вместе с нами из Энглам-Мана, могла следовать за нами. Кроме грудного ребенка, почти что у каждой лежал на спине громадный мешок с провизиюю, подарок жителей Энглам-Мана; мужья же их несли одно только оружие.

Я вернулся в Гарагасси не ранее 5 часов после с лишком восьмичасовой ходьбы.

2 июня. Был рад просидеть весь день дома и не видеть и не слышать с утра до вечера людей около себя.

3 июня. Убил в продолжение двух часов 7 различных птиц. Между ними находился молодой самец райской птицы (*Paradisea apoda*), а также в первый раз убитый мною *Centropus* [...] (*В рукописи оставлено место для названия*); последняя редко летает, а обыкновенно бегаёт между кустарником. Туземцы называют её дум, подражая её заунывному крику «дум» (дум *вписано другим почерком и другими чернилами*). Я много раз слышал этот крик, не зная, какая птица его производит. Перья черно-зеленого цвета, хвост очень длинен сравнительно с небольшими крыльями. Не думаю, однако ж, чтобы это был новый вид, а уже описанный *Gentropus*.

6 июня. Старый Бугай из Горенду пришел в Гарагасси с людьми из Марагум-Мана, с которыми Горенду и соседние деревни заключили мир. Бугай с жаром рассказывал четырем пришедшим о могуществе моего страшного оружия, называемого туземцами «табу», и о том, как они уже имели случай удостовериться в его действии. Пока мы говорили тихо, прилетел (*Возможно, следует: Пока мы говорили, тихо прилетел*) большой черный какаду и стал угощаться орехами кенгара, как раз над моею хижинкою. Раздался выстрел, птица свалилась, а мои туземцы обратились в бегство. Торжествующий Бугай, и сам немало струхнувший, вернул их, однако ж, уверяя, что Маклай — человек хороший и им дурного ничего не сделает. Какаду показался мне очень большим; смерив его между концами крыльев, оказалось 1027 мм. Вернувшиеся туземцы, попросив спрятать «табу» в дом, подошли к птице, заахали и стали очень смешно прищелкивать языками. Я им подарил перья из хвоста какаду, которыми они остались очень довольны, и несколько больших гвоздей; с последними они не знали, что делать, вертя их в руках, ударяя один о другой, и прислушивались к звуку, пока Бугай не рассказал им об их значении и о той многосторонней пользе, которую туземцы уже умеют извлекать из железных инструментов. После этих объяснений Марагум-Мана-тамо завернули гвозди в старый маль, род папуасской тапы. Прислушиваясь к их разговору, я не мог ничего понять. Диалект был также отличен от языка Самбуль- и Энглам-Мана.

Вздумал пригласить жителей Горенду есть у меня свинью, подаренную мне Энглам-Мана. Пока мы их ждали, Ульсон стал готовить суп и, отправившись за водою, оставил в кухне несколько кусков мяса. Пока он ходил туда, я заметил большую ящерицу, пробирающуюся с большим куском мяса из кухонного шалаша. Незначительный шорох заставил ее бросить добычу и скрыться. Наконец, мои гости пришли и пробыли до 5 часов. Они даже принесли с собою кеу, одним словом, распорядились у меня в Гарагасси, как у себя дома. Мы расстались большими друзьями.

8 июня. Полагая, что мне удастся добыть вчерашнюю большую ящерицу, я снова положил несколько кусков мяса в кухню и предупредил Ульсона не входить туда. Действительно, чрез полчаса ожидания я заметил ящерицу; она осторожно пробиралась между хворостом; не желая раздробить кости дробью, я взял револьвер и убил ее. Длина ее туловища равнялась 1 м и [...] (*В рукописи пропуск*) см. Пришедшие туземцы очень упрашивали меня дать им шкуру легуана. Они обтягивают ею свои окамы (небольшой барабан). Мясо ее также очень ценится.

13 июня. Небольшой кускус, которого я приобрел несколько недель тому назад, живет и растет отлично. Ест все: рис, аян, бау, кокосовые орехи, сладкий картофель и очень любит

бананы, В продолжение дня спит обыкновенно, свернувшись, но все-таки ест, если ему что дадут; ночью же немилосердно грызет дерево ящика, куда я его сажаю.

*14 июня.* Приходили ко мне туземцы с просьбою указать им место, где находятся их три больших ненира (корзины для рыбной ловли), которые были снесены в море, несмотря на якоря; они были крайне разочарованы, услышав, что я не знаю, где они находятся. Зайдя в Горенду, я был окружен женщинами, просящими меня дать имя родившейся день или два тому назад девочке. Я назвал несколько европейских имен, между которыми имя Мария им понравилось более всех. Все повторяли его, и мне даже была показана маленькая обладательница этого имени. Очень светлый цвет кожи удивил меня; волосы были также интересны, не будучи еще курчавые.

*17 июня.* Было большое угощение жителей в Горенду, на которое и я был приглашен. Не менее как восемь больших связок таро, из которых каждую несли по 2 человека, очень большая свинья, несколько собак и один кускус с разными аксессуарами папуасской кухни были очищены, сварены в 40 или более громадных горшках и, наконец, съедены при звуках разнокалиберных папуасских «ай» и барума. Это угощение отличалось от других тем, что происходило в деревне и что женщины, хотя и отдельно, но участвовали в нем. Музыка же не переступала порогов буамрамры.

*18 июня.* Встречаясь с туземцами или проходя через деревню, приходится постоянно отвечать на вопросы, как, например: «Куда идешь?», «Что сегодня убил?» и т. п. Возвращаясь назад, снова приходится отвечать на вопросы: «Где был?», «Что ел?», «У кого?», «Что несешь?» и т. д. Это любопытство нельзя, однако ж, считать характеристичным для черного племени: оно не меньше развито и среди образованных европейцев, только вопросы задаются другого рода.

Ульсон жалуется постоянно на нездоровье; работа его ограничивается варкою бобов, бау и едою. Такие субъекты, как он, наводят скуку. Ему сегодня нездоровилось. Он уверял, что чувствует приближение сильного пароксизма. Мне пришлось готовить, но я предпочел есть почти сырые бобы и недоваренный бау, чем смотреть за огнем и раздувать его.

*20 июня.* Туземцы начинают собирать орехи кенгара (*Canarium commune*). Несколько человек влезает на дерево и сбрасывают ветки со множеством орехов; под деревом место очищено от мелких кустарников, и женщины и дети собирают сброшенные кенгары. Так как черные какаду питаются в это время исключительно кенгаром и уничтожают в день значительное количество его, то месяца уже 3 или 4, как мне приходится слушать частенько крики папуасов, которые несколько раз ежедневно приходят под деревья спугивать какаду. Эти дисгармонические человеческие крики часто в последнее время нарушают тишину леса.

Встал с головною болью, но, несмотря на то, отправился на охоту. Пароксизм захватил меня, и мне пришлось лечь в лесу, так как я был не в состоянии оставаться на ногах по случаю головокружения и сильной головной боли. Несколько часов пролежал я в лесу и, как только стало немного лучше, еле-еле добрался домой. Пришлось лечь, и сильнейшая головная боль промучила меня далеко за полночь.

*26 июня.* Последние дни мне не приходилось ходить на охоту. Растущие у самого дома большие *Canarium* покрыты спелыми орехами. Разные виды голубей прилетали с утра и доставляли провизию для завтрака или для обеда. Эти дни приходил ко мне несколько раз Коды-Боро, брат туземца, которого один из офицеров «Витязя» прозвал диким, похожим

на черта. Он приходил с настойчивым приглашением приехать в Богати, уверяя, что там всего много, предлагая, подобно жителям Били-Били, построить мне хижину, прибавляя, что люди Богати дадут мне двух или трех жен, что женщин там гораздо больше, чем в Бонгу, и т. д. Он как-то недоверчиво посмотрел на меня, когда его предложения не произвели желанного эффекта.

*30 июня.* Убив голубя и какаду на моем дереве, я позволил Дигу влезть на него за орехами. На высокий, гладкий, толстый ствол Дигу влез так же, как туземцы влезают на кокосовые пальмы, т. е. при помощи связанной веревки, которую надевают себе на ноги. Он взобрался на самый верх и стал кидать оттуда орехи. Я, Ульсон и 8-летняя дочь Буа подбирали их. В результате оказалось, что маленькая девочка собрала больше, чем мы оба вместе: так хороши были ее глаза и так ловко, несмотря на голое тело, она пролезала везде, даже между самыми колючими лианами и хворостом.

Довольно характерная черта туземцев та, что они очень любят поучать других, т. е. если кто-нибудь делает что-либо не так, как они, туземцы сейчас же останавливают и показывают свой образ действия. Это даже заметно и в детях: много раз маленькие дети, лет 6 или 7, показывали мне, как они делают то или другое. Это происходит оттого, что родители очень рано приучают детей к практической жизни, так что, будучи еще совсем маленькими, они уже присмотрелись и даже научились более или менее всем искусствам и действиям взрослых, даже и таким, которые вовсе не подходят к их возрасту. Дети мало играют; игра мальчиков состоит в метании палок, наподобие копий, в стрельбе из лука, и как только они делают небольшие успехи, то применяют их к практической жизни. Я видел мальчиков, очень небольших, проводящих целые часы у моря, стараясь попасть из лука в какую-нибудь рыбу. То же самое бывает и с девочками, и даже в большей степени, потому что они ранее вступают в хозяйство и делаются помощницами своих матерей.

Погода великолепная, купаюсь в море несколько раз в день, по вечерам не хочется входить в хижину. Температура, однако ж, не превышает 31°.

*1 июля.* Между многочисленными птицами самым заметным после черного какаду является наренг (*Vuceros*) не только по своей величине, большому, немного загнутому клюву, но и по шуму полета, который слышится уже издали. Он летает очень высоко, обыкновенно попарно, садится на вершины самых высоких деревьев и при малейшем шуме улетает. Несмотря на все старание, мне не удалось застрелить ни одного <sup>139</sup>.

Сегодня в продолжение 3 часов по крайней мере я провозился с одним из них. Ранив его, но очень мелкою дробью, вероятно, незначительно, я проследил его далее в лесу. Снова выстрелил и, но всему вероятно, опять-таки попал, так как наренг не улетел, а только перелетел на соседнее, более высокое дерево. Заметив себе это место, я вернулся позавтракать и снова возвратился туда, где оставил птицу. Пробираясь в лесу, попал в такую труппу, что был сам не рад. Десятки тонких лиан, гибкие, колючие хвосты *Solamus*, цепляющиеся за платье, царапающие лицо, сбрасывающие шляпу, задержали меня минут около 10. Это было тем более досадно, что птица оказалась все еще на дереве.

Выбравшись, наконец, из чащи, я приблизился к дереву, так что наренг увидел меня, но все-таки остался на месте, стал кричать очень громко, точно протестуя против преследования, и бить одним крылом; другое висело без движения. Он, однако ж, попытался, продолжая кричать, влезть выше. Густые листья скрыли его из виду, но я мог слышать иногда его голос. Явился другой наренг и с криком стал летать, описывая большие круги, над деревом, где сидел его раненый товарищ. Исколотые ноги, солнце, особенно же муравьи обратили мое пребывание под деревом в добровольную пытку.

Дерево было высоко, и для того чтобы следить за движениями птицы, приходилось смотреть постоянно вверх. Через полчаса шейные мускулы очень устали; глаза, которым приходилось плохо от солнца и от освещенных листьев, почти отказывались служить; но я все-таки сидел и ждал. Наренг не показывался, не откликался на постоянный крик товарища, который в сотне шагов перелетал с дерева на дерево. Головокружение и головная боль заставили меня вернуться домой. Проспав около часа, я вернулся обратно. Раненый все еще находился там, но товарищ его улетел при моем приближении.

*4 июля.* Погода стоит замечательно хорошая. Занимался микроскопическим исследованием волос папуасов. Нашел громадное разнообразие в толщине и контурах поперечного разреза между волосами, срезанными с различных частей тела одного и того же человека. У белой расы не только толщина, но и цвет волос, растущих на разных частях тела, различен. Вообразив себе людей всех рас, обросших длинными волосами, очутишься в очень разношерстном обществе.

Проходя недалеко от дерева, где 2 дня тому назад я оставил раненого нарэнга сидящим высоко на дереве, а другого — летающим около него, я подошел к тому месту и, к удивлению моему, увидел обеих птиц в том же положении, как и 48 часов тому назад.

*10 июля.* В Горенду Туй строит новую хижину с помощью людей Горенду, Гумбу, Бонгу, за что угощает их по вечерам. По случаю постройки несколько раз слышался барум.

*11 июля.* Около 4 часов был довольно сильный шквал с дождем, затем прояснело, ветер спал, и я сидел на веранде, рисуя кое-что. Вдруг мне почудилось, что большое дерево напротив как будто покачнулось; следующая мысль была, что я, вероятно, дремлю и вижу это во сне; не успел я подумать, быстрее, чем я теперь это записываю, громадное дерево сначала медленно, затем быстрее, быстрее склонилось, рухнуло и легло не более как шагах в двух от хижины, перпендикулярно к ее фасаду или веранде. Дерево было совсем зеленое и казалось совершенно здоровым, только метра два от земли (место перелома) почти что проедено личинками разных жуков. Высота дерева оказалась около 100 футов (именно 96), и если бы оно свалилось на хижину, то проломило бы крышу, переломало много вещей и, пожалуй, ранило одного из нас. Сегодня я поверил предостережению туземцев, что деревья в Гарагасси могут убить меня. Особенно странно было то обстоятельство, что, когда это случилось, ветра уже почти что не было.

*12 июля.* В последнее время туземцы часто говорили мне: «Завтра будут жечь унан; много будет там диких свиней и других животных, Маклай пойдет со своим «табу» бить свиней, мы же придем с нашими копьями, луками и стрелами». Но это «завтра» все откладывалось, а сегодня в деревне меня уверили снова, что завтра непременно будут жечь унан, и некоторые заявили, что придут за мною около полудня. Увидим.

*13 июля.* Не было еще 11 часов, я и не думал собираться на новую для меня охоту, как вдруг послышались приближающиеся голоса, и затем скоро явились несколько жителей Бонгу в полном воинском убранстве, с туго натянутыми луками и множеством вновь заостренных стрел разного рода. Каждый имел по 2 копья, концы которых были натерты красной землей, как бы уже покрытые кровью: кроме развевающихся на голове перьев, в волосах красовались алые цветы китайской розы; за сагу были заткнуты ветки с красно-желтоватыми листьями видов *Coleus* или длинные темно-красные листья *Colodrason*. При каждом движении все эти украшения развевались и производили блестящий, своеобразный эффект. Пришедшие, за мною объявили, что унан уже горит и что следует идти немедленно. Накинув на себя охотничью сбрую и захватив кое-что на завтрак, я отправился, сопровождаемый пестрою свитою.



Пройдя ближайшею тропинкой лес и подходя к опушке, я услышал шум, похожий на плеск водопада, масса воды которого то увеличивается, то уменьшается. Выйдя из леса, я увидел в сотне шагов у самой земли полосу огня, которая удалялась от нас, оставляя по себе черные обгорелые следы унана и груды легкого пепла. Столбы дыма поднимались около Горенду, далеко на юго-запад, у самого края, около Бонгу и с другой стороны, на восток за Гумбу, около берега реки Габенеу. Пожар только еще начинался, и мы расположились в тени у опушки леса. Я принялся завтракать, туземцы — курить и жевать бетель. Через 3/4 часа огонь отодвинулся от опушки приблизительно на 1/2 мили и благодаря NW гнал дым в противоположную от нас сторону.

Мы пошли по сожженной поляне, которая оказалась далеко не такую ровною, как я себе ее воображал: она вся, насколько я мог обнять глазом, была покрыта кочками фут около 5 вышиною и приблизительно фут 10 или 12 в диаметре у основания. Эти кочки были неравной величины и состояли из земли и мелких камней. Происхождением своим они, вероятно, обязаны земляным постройкам Maleus . В лесу находятся подобные же tumuli (*Холмы, кучи, груды (лат)*), но реже.

Мы подошли шагов на 10 к линии огня, и каждый из нас избрал себе кочку для наблюдения; таким образом, параллельно огневой линии образовалась цепь охотников, следящих за движением пламени и готовых напасть на добычу. Пожар то увеличивался, то уменьшался; по временам целая стена буро-белого дыма поднималась к небу и пламя большими языками несло по ветру; порою же пламя почти что потухало, пелена дыма разрывалась, открывая вид далеких гор и ближайшего леса. Вдруг неожиданно дым столбом поднимался вновь, двигался, ложился, и пламя тонкими змейками вилось над почерневшею землей.

Туземцы, стоя в воинственных позах, луки и стрелы в левой руке, а в согнутой правой — копье над плечом наперевес, острием вперед, внимательно следили за движением пламени, желая каждый первым открыть неприятеля. Несколько мальчиков лет 10—11, с миниатюрными луками и копьем, также стояли немного поодаль от отцов и служили живым примером тому, как наука папуасской жизни передается из поколения в поколение.

Сухой унан трещал, вспыхивал, падал; иногда порыв SO гнал массу дыма на нас; легкий пепел травы влетал нам в нос, заставляя чихать и кашлять. Иногда огонь, точно недоумевая, кидался в разные стороны, возвращался назад и прибавлял духоту к жару уже и без того палящего солнца. Очень утомившись, я положительно заснул бы стоя, если бы по мере удаления огня голос соседнего часового не напомнил мне, что надо идти вперед. После томительных 2 часов мы дошли до противоположной стороны. Наша линия сошлась с встречной линией; взоры туземцев, внимательно исследуя почерневшую поляну, ничего не находили, и когда последние стебли вспыхнули и потом мелким дождем пепла разлетелись по воздуху, я услышал от ближайшего охотника неутешительное «буль-ареп» (свиньи нет). Мы сошли со своих кочек; несколько жителей Гумбу, образовавших противную линию, тоже заявили, что ничего не видали.

Я остановил одного из них, за спиной которого, привязанное к копью, висело новое для меня животное, похожее на большую крысу. Я занялся рассмотрением его: волосы были интересны тем, что походили на плоские иглы, хотя и эластичные. Они были отчасти опалены, так же как ноги и морда, а высунутый язык немного обуглен. Животное, вероятно, задохлось от дыма. Я рассматривал его острые зубы, как вдруг крик отошедших в сторону туземцев: «Буль, буль!» заставил меня оглянуться.

В сотне шагов, лавируя между многочисленными копьями, которые со всех сторон вонзались в землю, бежала большая свинья. Я выхватил двуствольное ружье из рук туземца, который держал его, пока я рассматривал новое для меня животное. Подпустив свинью шагов на 20, я выстрелил. Пуля пробила ей грудь, но ниже сердца. Свинья пошатнулась, однако кинулась в сторону и пробежала мимо меня. Я снова прицелился и раздробил ей заднюю ногу. Свинья остановилась на несколько секунд, но, видя мое наступательное движение, снова отбежала на несколько шагов. Вынув револьвер, я стал подходить. Животное, поднимая верхнюю губу и показывая почтенные клыки, издавало глухое рычание. С каждым выстрелом я подходил ближе и остановился шагах в 6 от свиньи, которая свалилась на сторону, но иногда все еще приподнималась и показывала клыки. Подбежавшие туземцы не дали мне времени выстрелить: один копьем пробил ей бок; другое копьё пролетело мимо, а из трех стрел одна («палом» — с широким плоским бамбуковым концом) вонзилась в шею животного. Оно имело еще настолько силы, что несколькими движениями освободилось от копья и стрелы, конец которой остался в ране. Желая покончить с нею, я подошел с противоположной стороны, хотя охотники и кричали мне, чтобы я не подходил, и, выбрав момент, вонзил свой длинный нож по рукоятку ей в бок, немного позади передней оконечности. Струя теплой крови покрыла мою руку, и животное окончательно свалилось. Окружившие нас туземцы единогласно объявили свинью моею и стали расхваливать мое «табу» и меня самого.

Далекие крики возвестили о том, что можно рассчитывать еще на добычу. Я снова зарядил ружье. Охотники один за другим удалились, раздраженные первою неудачею. Я же, найдя удобную кочку, сел и стал ожидать. Вдали слышались крики: «Буль, буль, буль!» Голоса издали призывали меня. Затем туземцы вернулись и рассказали мне, что там было еще 2 свиньи, но они ушли, потому что не было меня и моих «табу». Партия людей Бонгу пришла объявить, что они убили одну свинью, но что при этом Саул, которого она повалила, был так ею искусан, что бок, рука, голова и глаз были все в крови, когда его отвели в Бонгу. В свою очередь мои спутники рассказали о наших похождениях, о «табу» и о большом буль Маклая. Мы отправились к убитому животному, и на вопрос, куда его нести, я сказал, что беру голову и заднюю ногу себе, а прочее отдаю людям Бонгу (*Вероятно, ошибка. Следует: Горенду*), что, оставив ружье дома, я пойду в Бонгу перевязать раненого Саула и что приглашаю всех ко мне покурить моего табаку. Все остались довольны, и мы двинулись вперед длинною процессиею.

Их было человек 40. Когда они расположились, куря, на площадке в Гарагасси, я увидел, кроме животного, о котором уже говорил выше, называемого туземцами «габенеу», еще вид мыши и большого серебристо-белого маба. Приобретя его, а также и несколько экземпляров других животных для коллекций, я поспешил в Бонгу к раненому. Меня встретили плачущие женщины и сын его. Кроме множества мелких ран, оказались две глубокие на руке, одна сбоку живота, несколько других около глаза, на лбу, за ухом, на шее, но все это были только царапины. Запекшаяся кровь с пеплом и грязью придавали более жалкий вид раненому, который, размахивая здоровою рукою, рассказывал окружающим, как он вонзил свое копьё в смертельно раненую свинью, как та внезапным движением переломила копьё и сшибла его самого с ног (обе ноги рассказчика были сильно увеличены в объеме вследствие элифантиазиса), как, поранив его, она попробовала бежать, но издохла. Его товарищи, думая, что Саул справится один со свиньею, которая уже была сильно поранена, занялись другою и не видели происшедшей с ним катастрофы. Я потребовал воды, нагрел ее, обмыл ею раны, затем перевязал их карболовым маслом. Присутствующие внимательно следили за моими движениями, повторяя, что я хороший человек.

Солнце стояло низко, когда я пришел в Горенду, где между тем борову спалили волоса и ждали меня, чтобы я взял свою часть. Я отрезал голову и заднюю ногу и, несмотря на приглашение ночевать — или, вернее, провести с туземцами бессонную ночь, — взвалил на плечо добычу сегодняшнего дня и отправился домой. Ноша была, однако ж, так тяжела, что пришлось отдыхать раза два. В 8-м часу я сел покойно в свое кресло обедать, очень голодный, так как целый день почти был на ногах и мало ел.

Удары в барум в Горенду возвестили начало «ай» в соседних деревнях, который должен был продолжаться всю ночь и весь завтрашний день.

Лунная ночь была тиха, и звуки труб и других инструментов доносились очень вятно. Отдохнув часа 2 и не будучи в состоянии заснуть, я вздумал отправиться снова в Горенду, желая вполне познакомиться с папуасским «ай» и взглянуть, что они там делают по ночам во время этих пиршеств. Я взял с собою Ульсона, которому очень хотелось побывать во время «ая» в деревне. Вооружившись фонарем, так как на луну нельзя было надеяться (ее часто закрывали черные тучи), мы отправились. Пришлось идти очень медленно, потому что Ульсон, не привыкший к здешним тропинкам, спотыкался и падал несколько раз. Подходя к площадке «ая», я закрыл свет фонаря и тихо приблизился. На площадке пылал большой костер, над которым был устроен род большой жаровни (более 1 м вышины, метра 2 длины и около 1 м ширины). На ней пеклись куски свинины; кругом, сидя, лежа, стоя, туземцы занимались своею музыкой. Каждый по обыкновению старался заглушить остальных своим инструментом. Некоторые спали; жир, в изобилии капавший с жаровни, увеличивал по временам пламя, освещавшее всю картину.

Раздавшийся внезапно звук моего свистка заставил на несколько секунд смолкнуть нестройную музыку, потом послышались возгласы: «О Маклай, гена! Анди-гена!» и т. п. Я отыскал себе удобное место на циновке, но оставался недолго, так как замолкнувшая было музыка возобновилась с новою силою.

*14 июля.* Был утром в Бонгу перевязать раны Саула. Узнал, что при вчерашней охоте людьми 3 деревень были убиты, кроме множества мелких животных, как [...] (*В рукописи оставлено место для названий*), пять больших свиней, не считая той, которую убил я. Я поспешил вернуться в Гарагасси, где занялся рисованием и препарированием купленных мною вчера животных (*Brachymeles Garagassi Mcl*).

*16 июля.* Туземцы окрестных деревень снова заняты выжиганием травы и охотою, от которой я сегодня отказался. Хотел сделать портрет Налая, но он и другие около него стоявшие туземцы заявили, что, если я сниму с него портрет, он скоро умрет. Странное дело, что и в Европе существует подобное же поверие.

*17 июля.* Прибирал и чистил вещи в хижине; если бы по временам не делать этого, то трудно было бы войти в мою келью в 7 кв. футов.

Был снова в Бонгу у раненого. Около нас собралось целое общество, но каждый был чем-нибудь занят: один кончал новую удя-саб и скреб ее раковиною, другой такую же раковиною заострял концы своего юра, третий, уже ножом, полученным от меня, строгал конец своего копья, сломанного во время последней охоты. Женщины искали вшей в головах мужчин, дети (подростки) были заняты тем же. Двое женщин распространяли свою любезность и на собак и ловили у них блох, причем собаки послушно лежали у них на коленях. Когда я собрался идти, Бугай, один из жителей Горенду, также поднялся, чтобы идти со мною. У берега моря Бугай подошел к дымящемуся толстому стволу,

прибитому давным-давно приливом. К моему удивлению, он стал с большим аппетитом глотать целые пригоршни золы.

Не понимая, что это за особенное дерево, я также попробовал золу, и она оказалась приятно соленого вкуса. Этот ствол, долго носимый волнами, источенный разными морскими животными, набрался таким количеством соли, что зола его отчасти может заменить обыкновенную соль. Бугай сказал мне, что золу эту многие едят с бау, аяном и другими кушаньями. Для меня это очень полезное открытие; моя соль уже совсем на исходе, и я все ем без соли, исключая мяса. Я обратил внимание на донган который, заткнутый за браслет Бугая, был сделан из кости животного, которого я еще здесь не видел. Оно называется туземцами «тиболь» и водится в лесах, но встречается также на полянах унана. Но словам туземцев, тиболь имеет длинный толстый хвост и высоко прыгает .

30 июля. Лихорадка сильно беспокоила меня и заставила потерять несколько дней. Ульсон также хворает, даже чаще меня.

У входа в Горенду на пригорке сидела девочка лет 10 и бросала вниз кокосовые орехи; несколько мальчиков от 5 до 10 лет с заостренными палками стояли по сторонам, стараясь, бросая палку, вонзить ее в упругую скорлупу ореха. Эта сцена представилась мне, когда я пришел сегодня в деревню. Пожалел, что я недостаточно художник, чтобы набросать оживленную картину.

Сахарный тростник, которого не было видно некоторое время, опять появился и опять жуется туземцами в большом количестве.

31 июля. Несколько туземцев приехали в Гарагасси на своих пирогах; некоторые по обыкновению уселись у самой лестницы, ведущей к моей веранде. Болтали об охоте, просили перьев и т. д. Вдруг один из них, точно ужаленный, в 2 прыжка соскочил с лестницы с криками: «Маклай, гена, гена!» (Маклай, иди, иди сюда); остальные последовали его примеру. Не понимая, в чем дело, я спросил туземцев, но не успел получить ответа, как над головою на крыше услышал сильный удар, и столб пыли ослепил меня. Дождь сучьев разной толщины падал на землю у самой веранды. Некоторые из них были достаточно толсты для того, чтобы, упав с высоты 70—80 фут, серьезно ранить человека. Оказалось, что Нуа, соскочивший первым, услышал над головою легкий треск и, зная, что он мог значить, поднял тревогу. Туземцы очень боятся падения деревьев и сухих сучьев, которые, падая, могут причинить смерть или опасную рану. Уже давно они находят положение моей хижины в Гарагасси не безопасным и весьма часто предлагают или переселиться в Горенду или Бонгу, или построить новую хижину на другом месте. Отчасти они совершенно правы, но возня, сопряженная с постройкой и переселением, так неудобна для меня, что, полагаясь на «авось», продолжаю жить здесь.

В Бонгу, куда я хожу каждый день перевязывать раны Саула, я присоединился к группе курящих, жующих бетель и разговаривающих, надеясь узнать что-нибудь новенькое из разговора с ними. Завел речь о названиях разных народностей и мест. Желал узнать, имеют ли жители этого берега общее название (*В рукописи*: общие названия); такового, однако ж, не оказалось, хотя туземцы хорошо понимали, что я желаю знать. Они называли людей, прибавляя к слову «тамо» название деревни. Рассказывали, что жители деревень в горах на NO, которых называли «тамо-дева», пробуравливают себе ноздри и вставляют в них перья.

Затем разговор перешел на рассказы о моей хижине, о падении сухих ветвей и т. д. Мне опять предлагали построить новую хижину. Угощение следовало своим обыкновенным порядком: сначала выпили кеу, потом, отплеываясь и делая разные гримасы, возбужденные горечью напитка, принялись за выскобленный кокос, затем за груды вареного бау, аяна и каинды, как десерт следовало жевание бетеля, а затем курение; это обыкновенный порядок туземных угощений. Так как я не принимал участия ни в первом, ни в обоих последних отделах ужина, то я отправился ранее других в обратный путь. У одной из хижин я остановился, чтобы пропустить целую вереницу женщин. Среди них было много гостей из других деревень. Когда я остановился, около меня собралась группа мужчин; женщины, выходя из леса и завидя нашу группу, сейчас же весьма заметно изменяли походку и, поравнявшись с нами, потупляли глаза или смотрели в сторону, причем походка их делалась еще более вертлявою, а юбки еще усиленнее двигались из стороны в сторону.

Я так запоздал и было так темно, что мне пришлось ночевать в Горенду. Нары оказались гораздо удобнее моей койки и мягче, и, закрывшись новыми циновками, я проспал недурно, хотя несколько раз просыпался от жесткости толстого бамбука, заменявшего подушку. Когда лежишь на спине, он представляет довольно удобную подушку, но она делается неудобною, как только ляжешь на бок; надо ухитряться спать на спине и не ворочаться.

*1 августа.* Рассматривая мой метеорологический журнал за 10 месяцев, можно удивиться замечательному постоянству температуры: редко бывает в тени  $32^{\circ}$ , большею частью  $29$  или  $30^{\circ}$ ; ночью семью-восемью, очень редко десятью  $^{\circ}$  Ц холоднее дневного максимума. Притом здесь нет собственно дождливого времени года: дождь распределен довольно равномерно на каждый месяц. Несмотря на приятный климат, одно скверно — лихорадка.

*4 августа.* Четыре или пять пирог пристали к берегу около Гарагасси. Туземцы из Бонгу принялись усердно колоть в щепки ствол почти что в 40 м длины; он был принесен приливом еще в марте и пролежал здесь около 5 месяцев. Мне объяснили, что завтра они собираются в Теньгум-Мана и эти щепки отнесут в подарок горным жителям, которые, сжигая их, получают пепел, употребляемый ими как соль. В прибрежных деревнях прибавляют к пресной немного морской воды; горные жители заменяют это пеплом. Нагрузив все пироги, они отправились к себе, обещая вернуться.

*7 августа.* Почти каждый день лихорадка. Остаюсь на ногах до последней возможности. Хины остается мало. Вчера целый день раздавались в лесу удары топоров. Отправился посмотреть, что они делали. Значительное пространство леса было очищено от кустов и лиан, у больших деревьев обрублены ветви, оставлены только самые толстые сучья; несколько больших деревьев повалены — и все это в 2 дня. Я мог только удивляться работе, сделанной таким примитивным орудием, как каменный топор. Муравьи желтые, черные, коричневые, белые, большие, малые, потревоженные или лишенные своих жилищ, заставили меня уйти.

*9 августа.* Приходили люди Бонгу с гостями из Били-Били; один из прибывших просил очень послушать гармонику Ульсона; когда последний ушел за нею, туземцы поспешили окутать голову бывшего с ними пятилетнего мальчика своими маль, чтобы он не видел ай. Когда Ульсон кончил играть и ушел, ребенка освободили.

*13 августа.* Сидел дома и писал антропологические заметки о туземцах этого берега, которые намерен послать академику Бэру. Пришло очень большое число жителей окрестных деревень, одни только тамо-боро, с весьма странною просьбою: они хотели,

чтобы я навсегда остался с ними, взял одну, двух, трех или сколько пожелаю жен и не думал бы уехать снова в Россию или куда-нибудь в другое место. Они говорили так серьезно, один после другого, повторяя то же самое, что видно было, что они пришли с этим предложением после долгих общих совещаний. Я им отвечал, что, если я и уеду (в чем я нисколько не был, однако же, уверен), то вернусь опять, а что жен мне не нужно, так как женщины слишком много говорят и вообще шумливы, а что этого Маклай не любит. Это их не очень удовлетворило, но они остались, во всяком случае, довольны табаком, который я роздал членам депутации.

Вот уже месяцев 6, как Ульсон и я каждый вечер кладем на костер большое бревно, чтобы поддержать огонь до следующего утра, так как приходится быть экономным со спичками и не дойти до необходимости бегать в Горенду в случае, если костер погаснет. Иногда мы заменяем обыкновенное дерево обрубком, пролежавшим долго в морской воде и совершенно *a la rароиа* собираем белый пепел, который употребляем как соль. Чтобы выпаривать морскую воду на огне, нужно слишком много дерева, а для добывания соли посредством испарения на солнце у меня не найдется достаточно большого и плоского сосуда.

Однако ж я весьма легко и скоро отвыкнул от соли и не замечаю никакого вредного действия для здоровья от ее недостатка.

*15 августа.* Утром на охоте, когда я шел по тропинке около плантации, шорох между сухими листьями заставил меня остановиться. Прислушиваясь к шуму, я заметил шагах в 20 между деревьями около сухого пня небольшое животное. Это был небольшой кенгуру, рыжевато-серого цвета, которого туземцы нарывают «тиболь». Я выстрелил и ранил животное, так что его легко было словить. Очень обрадованный своей добычей, я вернулся немедля домой, забыв, что не застрелил ничего для завтрака или обеда, но мне было не до того, чтобы думать об этом. Вот уже около года, как я пробыл здесь, и это был первый экземпляр тиболя, которого мне удалось добыть. До этого времени я ни разу не видел подобного.

*16 августа.* Пригласили меня в Сонгу, специально чтобы попробовать еще не виданное мною кушанье «тауна», приготовление которого довольно сложно. Сперва с этих орехов снимается шелуха, они складываются в корзины и вымачиваются дней 10 или более в морской воде; затем они растираются и смешиваются с наскобленным кокосовым орехом, после чего полученное тесто, разделенное на порции, завертывается аккуратно в банановые листья и варится около 3 часов, и наконец таун готов и раскладывается небольшими пакетиками на чистые циновки. Таун мне понравился, несмотря на какой-то запах гнили: орех, должно быть, отчасти гниет во время пребывания в морской воде. Соображая сложность приготовления, трудно догадаться, каким образом туземцы дошли до открытия подобных кушаньев. Вся деревня принимает участие в таких экстраординарных угощениях.

Видел сегодня в Бонгу самый большой каменный топор, который мне случилось встретить; шириною он был около 12 см я замечательно хорошо вышлифован.

*20 августа.* Я сидел в Горенду, куда пришел за аяном, и разговаривал с окружавшими меня туземцами, как вдруг раздались пронзительные вопли и причитания, совершенно подобные тем, которые я слышал в Гумбу при похоронах Вето. Голос был женский, и скоро показалась и сама плачущая; обеими руками она закрывала глаза или отирала слезы, шла медленно и крикливо, нараспев голосила какие-то слова; немного поодаль за нею следовали несколько женщин и детей, также понуря голову, по молча. Я спросил: «О чем

это плачет и кричит Кололь?» (имя женщины). Оказалось, что ночью издохла большая свинья плачущей, желая пробраться между кольями забора в огород. Кололь отправилась к себе в хижину и продолжала голосить, как о покойнике. Такая привязанность женщин к свиньям может быть отчасти объяснена тем, что в этих странах, как было уже сообщено выше, некоторые женщины кормят поросят грудью. Так было и в настоящем случае. Когда я, смеясь, заметил, что свиней много, она отвечала, указывая на груди, что она сама вскормила эту.

Подобные сцены случаются здесь в деревнях нередко; при каждой неудаче, потере, смерти обязанность женщин — кричать, выть, плакать; мужчины ходят молча, насупясь, а женщины воют. Двое туземцев принесли издохшую свинью. Она была назначена Аселем, которому и принадлежала, быть отправленной в Бонгу, куда ее и понесли. Такие обоюдные подарки одной деревни другой — здесь общее правило. При отправке свиньи из Горенду ударили в барум. Около получаса спустя послышался барум в Бонгу, означающий получение свиньи и начало «ая».

22 августа. Вчера вечером собрался в Били-Били, завязав обе двери не веревкою, а белой ниткою, которую я опутал их, как паутиной. Ночью ветер был слаб; зыбь, однако ж, значительная; к рассвету после небольшого шквала с дождем от NNW совсем заштило. Через час гребли, очень утомительной по случаю шторма и солнечного жара, мы подошли близко к Били-Били. Туземцы толпою шли вдоль берега, распевая песни, в которые часто вплетали мое имя. Несколько пирога выехало к нам навстречу, и жители Били-Били, стараясь говорить на диалекте Бонгу, который я понимаю, наперерыв уверяли меня, как они рады моему приезду. Красивый островок с густою растительностью, толпа туземцев у берега, разукрашенных цветами, листьями, пироги вокруг шлюпки, песни, громкий разговор, шутки и крики диких — все это живо напоминало мне описание островитян Тихого океана первыми мореплавателями. Выбрав место у берега, я направил туда мою шлюпку. Когда она врезалась в берег, десятки рук потащили ее выше на отлогий берег. Был уже девятый час, и, выпив воды кокосового ореха, я почувствовал сильное желание заснуть, так как всю ночь не пришлось спать. Это желание было нетрудно исполнить, и я расположился, как и в первый приезд, в одной из указанных мне туземных пирог.

Отдохнув, я занялся рисованием. Рисовал, что приходилось: и хижины, и пироги, делал и портреты, снимал факсимиле с разных папуасских орнаментов, выцарапанных на бамбуке. Обходя деревню, я останавливался около многих хижин. Около одной из них несколько туземцев работали над большим веслом, причем можно было видеть, как железо легко вытесняет употребление раковин и камня как орудий. Небольшой обломанный гвоздь, тщательно плоско обточенный на камне в виде долота, в руках искусного туземца оказался превосходным инструментом для резьбы прямолинейных орнаментов. Работа была долгая, но все же гораздо легче и проще резьбы камнем или раковиной.

У многих хижин висели вновь выкрашенные белою и красною красками щиты, которые не встречаются у моих соседей, но в большом употреблении у жителей других островов, как Тиара и Митебог. Они сделаны из одного куска дерева, круглы, от 70 см до 1 м в диаметре и в 2 см толщины. На передней стороне около края вырезано 2 концентрических круга; фигура в середине представляет значительные разнообразия.

Щиты эти раскрашиваются только в особенных случаях.

Несколько туземцев, желая показать мне свою ловкость, схватили копья, одели щит на левую руку, так что середина его приходилась почти что у плеча, и стали производить

разные воинственные эволюции, причем щит закрывал голову и грудь и мог очень порядочно защищать их от стрел и копий.

*23 августа.* Собирался отправиться в Тиару (остров и деревня того же имени), которая лежит, сам не знаю где; но так как дует свежий NNW и на море сильная зыбь, туземцы просят подождать хорошей погоды. NNW, обыкновенно дует с открытого моря, сопровождается значительною зыбью и называется туземцами «карог». WNW, также очень обыкновенный здесь ветер, не сопровождается сильным волнением, так как дует с берега; он называется «явар».

Исходил остров по всем направлениям; на берегу нашел раковину [...] (*В рукописи оставлено место для названия*).

*24 августа.* Ветер все еще силен для туземцев: просят подождать. Мне все равно, так как везде и всегда работа у меня под рукою, только гляди, узнавай, рисуй и записывай; материал неистощим.

С утра почти вся мужская молодежь отправлялась на четырех пирогах на особенный пир, или, вернее бал, в Богати (туда им ветер попутный). Физиономии молодых людей, которых я знал хорошо, были так разрисованы, что я должен был пристально вглядываться в знакомые лица, чтобы распознать их: до такой степени обыкновенное выражение и черты лица были изменены несколькими цветными фигурами. Сари различных форм и небольшие барабаны, употребляемые во время пляски, не были забыты. Отправляясь, совсем готовые к своим пирогам, туземцы в угоду мне произвели на отлогом сыром (был отлив) песчаном берегу род репетиции пляски, которую должны будут исполнять вечером в Богати. При этом они держали в зубах свои сари, представлявшие курьезно украшенные белыми раковинами языки. В левой руке у них было по небольшому барабану, в который они ударяли правою. При пляске, состоявшей из плавных движений, они не только пели (причем вследствие держания сари в зубах пение их имело странный звук), но и ударяли в барабан, который то опускали к земле, то поднимали над головою. Пляска была в высшей степени оригинальна.

*25 августа.* Проснувшись ночью и видя, что погода хорошая, я оделся, зажег фонарь и отправился будить Каина и Гада, с которыми я должен был отправляться в Тиару. После нескольких отговорок Каин разбудил Гада: они достали парус и весла. Я перенес в небольшую пирогу разные вещи для обмена и для подарков и стал ждать у берега моих спутников. Размахивая горящими палками, они принесли мачту, парус и свои подарки. Отправляясь в гости, туземцы всегда берут с собою подарки и вещи для обмена, пользуясь при этом тем, в чем они сами имеют избыток.

Луна вышла из-за туч и таинственно проглядывала между пальмами, освещая живописную картину деревни, спокойного моря и группу работавших у пироги. Я поместился на платформе, или на «кобум-барле», по одну сторону мачты со всеми своими вещами; на другой стороне горел небольшой костер в сломанном большом горшке. На носу и на корме в специально устроенных местах поставлены были копья, луки и стрелы обоих туземцев. Один из них поместился впереди платформы, другой в корме, чтобы грести и, кроме того, управлять парусом и рулем. Около 3 часов утра все было готово, и пирога, или на диалекте Били-Били «кобум», была стащена в море. Вскочив в нее, Каин и Гад принялись грести, так как у берегов ветер был слаб; несмотря на это, пирога без шума стала двигаться вперед.



Я решил, что всего рациональнее для меня продолжать прерванный сон, так как я увижу этот берег днем, а ночь была слишком темна, и я не мог разглядеть ничего, кроме силуэтов деревьев, поднимавшихся над общим уровнем леса. Упругая бамбуковая настилка платформы представляла довольно удобную койку, и я отлично проспал более часа. Меня разбудил Гад, предупреждая, что я сожгу свой башмак, так как, потянувшись во сне, я положил одну ногу почти что на костер. Туземцы попросили у меня табаку, закурили свои сигары и стали расспрашивать меня о России, о людях, живущих не только в России, но на луне и на звездах. Между прочим я узнал, что планету Venus они называют «Бой», созвездие пояса Ориона — «Даманг». Плеяды — «Барасси».

Когда мы прошли островок Ямбобу, мне показалось, что берег образует в этом месте залив. Рассвет, однако ж, показал, что предполагаемый залив кончается проливом, и мы скоро очутились в нем. С обеих сторон берег представлял поднятый коралловый риф, покрытый густою растительностью. На юге находилась оконечность материка Новой Гвинеи, которую туземцы называют Бейле, на N — о. Григер с деревнями Гада-Гада и Митебог; за ними далее на NW — два островка, Багер и другой, имя которого я забыл. Мы вошли в значительную бухту, представляющую целый архипелаг островков разной величины, все одинаково образованные поднятым коралловым рифом и покрытые лесом. По мере того как мы подвигались, я записывал имена островков.

Солнце показалось на горизонте и осветило архипелаг, спокойную поверхность бухты и далекие горы. Пролив между материком Новой Гвинеи и Григером совершенно безопасен, и бухта с ее многочисленными островами, огражденная от моря рифом, представляющим, однако ж, несколько проходов, может образовать хорошие гавани. Этой бухте мне надо будет подыскать имя, так как, хотя каждый островок имеет свое название, бухта именуется туземцами просто морем. Мы обогнули 3 небольших острова; на одном росли кокосовые пальмы и были расположены плантации жителей Гада-Гада; 5 или 6 других — необитаемы. В глубине на юг находится устье значительной речки. Продолжая плыть дальше, мы обогнули средний из трех необитаемых островов и увидели, наконец, цель нашей экскурсии — о. Тиару. Группа кокосовых пальм и вытащенные на берег пироги означали, что здесь пристань деревни. Мои спутники принарядились, надели новые пояса, взбили большими гребнями волосы и принялись усердно грести. Можно было различить толпу собравшихся тиарцев, которые, завидя пирогу из Били-Били, вышли к берегу. Многие громко звали меня по имени. Подойдя к песчаному берегу, пирога была разом вытащена высоко на песок целою толпою туземцев. Я сошел с платформы и, раздав окружившим нас жителям Тиары мои вещи, отправился в деревню, где нам указали большую хижину, в которой был поставлен мой столик и складная скамейка, которые я привез с собою.

Среди обступивших меня туземцев я узнал троих, которые были в Гарагасси месяца два тому назад. Имена их занесены в мою записную книжку. Взяв ее из кармана, я нашел страницу и прочел их имена громко. Очень удивленные и вместе о том обрадованные, они один за другим, по мере того как я произносил их имена, подошли ко мне и по моему знаку уселись у моих ног, потом целый день почти не отходили от меня, стараясь услужить мне чем и как могли. Каин и Гад также почти что не покидали меня. Вся толпа жителей Тиары образовала большой полукруг, молча глядя на меня и на привезенные вещи. При этом я мог удобно разглядеть их физиономии. Здесь, как и в других местах, между совсем плоским и выдающимся немного носом представлялись десятки переходов, и, выбрав из целой деревни две крайности, можно представить две физиономии двух весьма различных типов. Но эти отличия чисто индивидуальные, в чем можно убедиться, рассмотрев физиономии остальных, составляющих всевозможные переходы от одного

типа к другому. Я положительно не нахожу основания полагать, что эта раса, живущая на островах, смешанная или отличная от жителей материка.

Я роздал около полуфунта табаку, нарезанного небольшими кусками; это хватило только пожилым, из молодых его получили лишь немногие, преимущественно обладающие более красивыми физиономиями. Пока они курили, я занялся рисованием хижин, которые, как и многие в Били-Били, были построены на столбах более 1 м вышины, но, как вообще все папуасские хижины, состояли преимущественно из крыш. Я обошел затем всю деревню, она была не мала, но не представляла той чистоты и уютности, как деревни моих соседей.

Вернувшись к прежнему месту, я застал туземцев, готовящих нам обед. За розданный табак жители Тиары принесли мне по стреле, от которых я не отказался, так как они были очень красиво вырезаны. Я обратил внимание здесь на особенную породу собак из Кар-Кара, отличную от распространенной на материке Новой Гвинеи. Собаки из Кар-Кара имеют толстое удлинненное тело, сравнительно очень короткие ноги и толстую морду.

После обеда я обошел остров и сделал эскиз архипелага на W и SW, записав при этом более 30 имен островов.

Наш кобум был уже нагружен и готов к обратному пути. Все население деревни высыпало на берег посмотреть на наш отъезд. Наша пирога оказалась очень нагруженной подарками разного рода, предназначенными тиарцами для моих спутников. Около Григера навстречу к нам выехала пирога, и несколько человек усердно просили меня заехать к ним. Я не согласился, так как было поздно, а на завтра я желал вернуться в Гарагасси. Когда мы вышли из пролива в море, пирогу нашу очень неприятно толкало на волнении, которое было значительно. Это происходило оттого, что толчки волн о вынос передавались пироге, которая сама непосредственно получала толчки от другой волны.

Остров Кар-Кар был ясно виден, хотелось бы туда, так кажется близко, а оттуда на о. Ваг-Ваг, где, по словам Каина, туземцы даже не строят пироги, ввиду своей изолированности.

*26 августа.* Утром, когда я собирался в путь, вернулась пирога с молодежью из Богати. У всех был очень усталый вид. На прощанье, желая подарить туземцам что-нибудь и не имея уже ни кусочка табаку, я придумал очень простое средство дать каждому что-нибудь для него полезное. Я разбил привезенную с холодным чаем бутылку на кусочки величиною в серебряный четвертак; таких кусочков из одной бутылки вышло несколько сотен. Стекло, будучи для туземцев очень важным орудием (для бритья, полирования дерева и резьбы украшений), доставило им огромное удовольствие. Вся деревня, даже женщины и дети, собрались около шлюпки, протягивая руки. Хотя не было свежего ветра, но он был попутный, и я вернулся в Гарагасси около 4 часов, т. е. употребил почти что 6 часов для перехода; на путь из Гарагасси в Били-Били потребовалось часов 12.

Дома нашел все в порядке, хотя по разным обстоятельствам я уверен, что немало туземцев побывало в Гарагасси во время моего отсутствия; но они не могли удовлетворить своему любопытству, найдя двери опутанными веревкою и ниткою. Вероятно, они думают, что если дотронутся до веревки у дверей, на них посыпятся со всех сторон выстрелы, или, если прикоснутся к нитке, с ними приключится какое-нибудь несчастье.

*30 августа.* Отправился в Богати и добрался туда через 6 часов, так как сначала дул ровный ветер, а потом только порывами.

Подходя к берегу, где я был 11 месяцев тому назад с офицерами «Витязя», я увидел толпу туземцев, которая присела, когда шлюпка приставала, и оставалась в этом положении до тех пор, пока я не приказал им вытащить ее на берег, что было немедленно исполнено.

Я обошел деревню, которая мне показалась самой большою между всеми расположенными вокруг бухты Астроляб. На большой площадке виднелись еще следы танцев, в которых участвовали жители Били-Били, о чем было сказано выше. Высокая барла была украшена зеленью разного рода, которую еще не успели снять, а кушанья, приготовленные по случаю пиршества, доедались туземцами, подогретые, еще и сегодня, т. е. на третий день после праздника. Мне также был подан большой кусок «ай-буль» (свиньи, убитой по случаю «ая»). Несмотря на все старания, я не мог достать черепа с нижней челюстью. Были принесены два, но без нее.

Коды-Боро снова заговорил о моем поселении в Богати и, желая подтвердить свои слова положительными доводами, повел меня через всю деревню к хижине, откуда вызвал молодую, крепкую, довольно красивую девушку. Что он ей сказал — я не понял. Она же поглядела на меня и, улыбнувшись, юркнула назад. Коды-Боро объяснил мне, что я могу взять ее себе в жены, если поселюсь в Богати, и повел меня далее. Выйдя из деревни, минут через 5 ходьбы мы подошли к высокой изгороди плантации, перелезли через высокий порог и направились к группе работающих женщин. Коды снова позвал одну; то была недурненькая девочка лет 14—15. Этот раз я уже знал, что означало его вызывание, и сейчас же покачал головою. Коды, не теряя надежды найти для меня подходящую, кивнул головою, указывая языком (Кроме указывания рукою или кивком головы по какому-нибудь определенному направлению, туземцы иногда заменяют эти жесты высовыванием кончика языка то направо, то налево, смотря по местонахождению указываемого предмета) по направлению нескольких девушек. Этот смотр невест мне надоел, и я вернулся в деревню, не слушая более Коды. За недостатком ветра нельзя было и думать о возвращении в Гарагасси. Я остался ночевать.

*31 августа.* Провел ночь порядочно, закрывшись флагом. Не обошлось, однако ж, без попытки со стороны Коды привести в исполнение, пользуясь темнотою ночи, те планы, которые потерпели фиаско днем. Хотя, ложась спать, я был один в хижине, около моей барлы не раз слышались женские голоса. Я решил игнорировать это и спать.

Утром, при восходе солнца, нарисовал панораму гор юго-восточного берега залива. Я приобрел за нож орлан-ай. Таинственно обходя задами хижин, Коды привел меня к небольшой буам-рамре, где показал мне орлан-ай. Когда я согласился дать за него нож, он завернул «ай» в циновку и с тою же заботливостью, чтобы никто нас не видел, повел меня назад к шлюпке, сам неся тщательно завернутый орлан-ай, и положил его сам под банки в шлюпку, обложив сверток кокосами, которые уже там лежали. Когда шлюпку столкнули в море, все туземцы опять присели, пока Ульсон поднимал парус и я, сидя у руля, не прокричал им прощального «Э-аба» и «Э-ме-ме». При порядочном ветре я скоро добрался до дома, где все нашел в исправности.

*1 сентября.* Сильная лихорадка.

*2 сентября.* Топором рассек себе колено и довольно глубоко, работая над кое-какими исправлениями хижины. Придется просидеть дома несколько дней.

*3 сентября.* Ульсон с десятком жителей Горенду вытащил шлюпку высоко на берег, так как она стала принимать до 80 ведер воды в сутки.

*5 сентября.* По случаю больного колена не могу ходить на охоту. Провизия наша почти что на исходе, приходится питаться тем, что приносят туземцы. Сегодня было пасмурно; свежий WNW и не более как 26° Ц.

*9 сентября.* К боли в колене присоединилась лихорадка. Провел 3 или 4 дня очень неприятным образом, так как пароксизмы сопровождались сильнейшею головною болью. К довершению удовольствия приходилось по целым дням слышать стоны Ульсона и причитания его, что мы оба умрем от лихорадки или от голода и т. п.

Погода в эти дни стояла пасмурная, по временам лил дождь и капал мне на стол и на постель.

*13 сентября.* Занимался препарированием и рисованием мозга маба, который издох в прошлую ночь, прожив несколько месяцев у меня на веранде. Я поправился и, так как и погода улучшилась, хожу опять на охоту.

*15 сентября.* Решил сохранить остатки провизии, бобы и рис исключительно на те дни, когда буду не в состоянии отправляться на охоту, а Ульсон, также по случаю нездоровья, не сможет идти за провизию в деревню. Вместо бобов и риса мы питаемся ямсом, сладким картофелем и бананами. Иногда, если нет дичи, приходится голодать, и уже не раз я видел во сне, что роскошно обедаю или ужинаю.

*17 сентября.* Ульсон жалуется на ревматизм во всем теле и опять лежит почти целый день.

*18 сентября.* Несколько дней, как птиц совсем нет. Черный какаду, которого во всякое время дня можно было застать на деревьях кенгара, более не виден. Ходишь по лесу, прислушиваешься, но даже и голубей не слышно. Появление известных птиц связано натурально с созреванием известных плодов. Это одна из причин скудости их в настоящее время. Другая причина, вероятно,— рубка леса в местности, где я преимущественно охотился. Жители Бонгу устраивают несколько новых плантаций, для чего вырубают мелкий кустарник и ветви больших деревьев. Когда весь этот хворост достаточно высохнет, его поджигают, а затем сооружается забор из воткнутых в землю обрезков тростника (*Saccharum Konigii*) и расщепленного дерева поваленных стволов.

*20 сентября.* Отправившись на охоту, я забрался в такую глушь, что даже с помощью ножа еле-еле мог пробраться между лианами и колючим кустарником разного рода. В этой труднопроходимой чаще леса я был неожиданно и к немалому удивлению моему остановлен забором плантации. Надо отдать справедливость туземцам в умении находить места для своих огородов в очень глухих и труднонаходимых закоулках леса. Перебравшись через забор этой плантации, где росли бананы, сахарный тростник, ямс и сладкий картофель, я отыскал калитку и таким образом нашел тропинку, которая вывела меня из леса к морю. Я был недалеко от Гумбу, но, не желая зайти в деревню, расположился отдохнуть на стволе повалившегося дерева недалеко от морского берега. Мимо меня прошли несколько женщин, идущих, вероятно, на плантацию; они несли пустые мешки на спинах и громко болтали. Значительная партия жителей Богати в полном вооружении прошла в противоположную сторону, к деревне. Я остановил последнего из них, чтобы узнать, каким образом они пришли сюда, и узнал, что пришли пешком, следуя по морскому берегу, выйдя еще до рассвета из Богати.

Сегодня исполнился ровно год, как я вступил на берег Новой Гвинеи. В этот год я подготовил себе почву для многих лет исследования этого интересного острова,

достигнув полного доверия туземцев и на случай нужды — уверенность в их помощи. Я готов и буду рад остаться несколько лет на этом берегу.

Но 3 пункта заставляют меня призадуматься относительно того, будет ли это возможно: во-первых, у меня истощится запас хины; во-вторых, я ношу последнюю пару [...] (*В рукописи пропуск*) башмаков и [...] (*В рукописи пропуск*); в-третьих, у меня осталось не более как сотни две пистонов.

*24 сентября.* Коды-Боро, сопровождаемый толпою людей Богата, принес мне поросенка, за что получил установившуюся плату — небольшое зеркало в деревянной оправе, которое из его рук перешло по очереди к каждому из посетителей. Некоторые долго держали его перед собою, делая всевозможные гримасы: высовывая язык, надувая щеки, жмуря глаза, то отдаляя, то приближая зеркало, то поднимая его вверх, и при каждом новом образе, появляющемся в зеркале, произносили: «а! э! о!». Другие, подержав недолго зеркало в руках и заглянув в него, как бы чего-то спугавшись, отворачивались и сейчас же передавали его следующему.

*27 сентября.* Заметил, что два бревна, образующие фундамент хижины, перегнили или съедены насекомыми. Мысль, что каждую минуту пол может провалиться, заставила меня, не медля, принять меры, чтобы привести хижину в более безопасное для меня положение. Так как Ульсон стонет на своей койке и собирается умирать, то мне пришлось отправиться вырубить новые стойки. Вырубил, но не был в состоянии снести их из леса к хижине.

В 2 часа пошел дождь со шквалами. Небо было обложено со всех сторон. Пришлось вернуться в хижину, и, несмотря на перспективу, что хижина может рухнуть, я решил, вместо того чтобы готовить обед, лечь спать, так как не было шансов, чтобы дождь перестал лить. «*Qui dort dine*» (*Кто спит, тот обедает; спящий хлеба не просит (франц.)*) — говорит пословица, но она верна только на один день, потому что, если и на второй не придется пообедать, навряд ли удастся заснуть, так как при сильном голоде спать невозможно. Я уже был близок ко сну, как струйка холодной воды на моем лице из новой щели в крыше заставила меня подняться, чтобы не допустить мою постель быть совершенно залитою. Я прикрепил с помощью палок и шнурков гутаперчевую простыню как раз над головою, так что вода будет стекать теперь по ней, а не попадать на подушку.

Я упоминаю о всех этих удовольствиях как специальное *NB* людям, которые воображают, что путешествия — ряд приятных впечатлений, и совершенно забывают обратную сторону медали. Не думаю, чтобы эти господа позавидовали мне сегодня: крайняя усталость, головная боль, мокрота кругом, перспектива пролежать голодным всю ночь и возможность провалиться. Иногда, однако же, бывают положения хуже.

*10 октября.* Трудно выразимое состояние овладевает иногда мною. Частая лихорадка и, может быть, преобладающая растительная пища ослабили до того мускульную систему, в особенности ног, что взойти на возвышение, даже весьма незначительное, для меня очень трудно, и часто, даже идя по гладкой дороге, я еле-еле волочу ноги. Хотя к занятиям охота и есть, но здесь я устаю, как никогда не уставал. Не могу сказать, что при этом я скверно себя чувствую; изредка только посещают меня головные боли, но они главным образом находятся в связи с лихорадкою и проходят, когда прекращаются пароксизмы. Но я так быстро устаю, что никуда не хожу, как в Горенду или в Бонгу за провизиею, а то сижу дома, где работы всегда много. Спокойствие и уединение Гарагасси восхитительны. На Ульсона наша уединенная, однообразная жизнь производит заметное впечатление. Он стал угрюм и сердится на каждом шагу. Его вздохи, жалобы, монологи так надоели мне,

прерывая мои занятия, что раз я объявил ему: деревьев кругом много, море в двух шагах; если он действительно так тоскует и находит жизнь здесь такую ужасною, то пусть повесится или бросится в море и, что зная причину, почему он это сделает, я и не подумаю ему помешать.

На днях посетили меня люди Билия, одного из островков архипелага Довольных людей. Двое или трое молодых папуасов имели замечательно приятные и красивые физиономии, положительно не уступающие в этом отношении ни одному из красивейших виденных мною полинезийцев. Сыновья Каина, например, хотя и не особенно красивые, очень напоминают мальчиков островов Мангаревы и архипелага Помоту (*В рукописи Помоту. Помоту — одно из устаревших названий полинезийского архипелага Туамоту*).

Узнал, что между туземцами здесь происходят дуэли из-за баб.

Расспрашивая Каина о знакомых моих в Били-Били, я спросил о Коре, очень услужливом и понятливом человеке. Каин ответил мне, что Коре получил рану в ногу при следующих обстоятельствах. Он застал жену свою в хижине другого туземца. Когда Коре отвел ее домой, другой туземец захотел воспротивиться. Коре схватил лук и пустил несколько стрел в противника, которого и ранил; но последний успел также вооружиться луком, и пущенная им стрела в свою очередь пробурала ногу Коре, пронзив ляжку. Другой случай ревности из-за жены произошел месяца 2 тому назад в Богати. Оба противника оказались ранеными, а один чуть было не умер. Копье вонзилось в плечо и переломило ключицу.

Опять каждый день слышатся раскаты грома, как и в прошлом году в это время.

*12 октября.* Заметил, что при недостаточной пище (когда по временам чувствуешь головокружение вследствие голода) пьешь гораздо более, чем обыкновенно.

Пароксизмы здешней лихорадки наступают очень скоро после каких-либо вредных причин, иногда в тот же самый день. На пример, если утром ходил в воде по колено и оставался затем долго в мокрой обуви или пробыл несколько времени на солнце с непокрытой головой, в час или в 2 часа пополудни наступает пароксизм.

Сегодня Ульсон мыл свое белье в продолжение 3 часов, ноги находились при этом в воде, температура которой на 1 или 1 1/2° была ниже температуры воздуха; в 3 часа у него был пароксизм, между тем как в предыдущие дни он был совершенно здоров.

*20 октября.* Возвращаясь утром с охоты, почти у дома я услышал голос незнакомой птицы. Рассмотрев ее в кустах, я взвел курок, но потом раздумал стрелять: жаль было пистона, их у меня остается очень мало. Для завтрака и обеда провизии было довольно. Я раздумал потревожить маленькую птичку и опустил ружье; мое внимание обратилось на очень курьезного паука с отростками на всем теле. Правую рукою держал я дуло, так что кожа между большим и указательным пальцами перегибалась чрез край ствола. Я поймал паука и, сделав шаг вперед, поднял, не изменяя положения руки, ружье. Раздался выстрел, и боль заставила меня выпустить ружье из руки. Боль была незначительна, хотя крови из небольших ранок было немало. Несколько дробинок пробили кожу. Очень сожалею, что правая рука пострадала, так как вследствие ее большего употребления эти незначительные ранки долго не пройдут.

*21 октября.* Вечером вчера и всю ночь слышен был барум в Богати. В него ударили изредка и однообразно. От пришедшего Саула узнал, что действительно в Богати был

покойник, которого сегодня утром похоронили. Я спросил, не приходил ли кто из Богати и не сказал ли ему об этом? Саул сказал, что нет; он только слышал барум и знает, следовательно, что умер человек, но кто — ему неизвестно. Следя за ударами барума, он понял, что умершего уже похоронили.

25 октября. Проведя ночь в Бонгу, я очень рано собрался в путь в Мале. Солнце еще не всходило, и только весьма немногие из жителей были на ногах и грелись у огня. Один из них нашел, что и ему нужно идти в Мале, и предложил отправиться туда вместе. Пошли. Мы рано пришли в деревню, где меня привели в большую буамрамру и просили остаться непременно ночевать. Один из туземцев пришел ко мне с жалобой на «тамо-русс» (офицеров или матросов корвета «Витязь»). Он объяснял, что хижина его была заперта и завязана, что «тамо-русс» открыли двери хижины, влезли в нее и забрали его окам и что теперь у него окама нет, так как их делают только тамо-Рай-Мана. Он просил меня о возвращении окама или по крайней мере об уплате за него. Другой также пристал, уверяя, что «тамо-русс» подняли его ненир (корзина для ловли рыб), вынули рыбу, а может быть, взяли и ненир или опустили его в нехорошем месте, так что после этого он не мог найти его. Третий заявил, что из его хижины «тамо-русс» взяли очень хорошее копье.

Будучи уверен, что это не были выдумки, я счел справедливым удовлетворить их жалобам и обещал вознаградить за вещи, взятые «тамо-русс»; зная, что окамы туземцами очень ценятся, я обещал дать за него топор; за ненир я предложил нож, а за копье мне показалось довольно дать 3 больших гвоздя. Все эти вещи они могут получить, когда хотят, в Гарагасси. Мое решение, которого они, кажется, никак не ожидали, произвело громадный восторг, и возгласы: «Маклай — хороший, хороший человек!» — слышались со всех сторон. Меня, однако ж, немало удивило, что после 14 месяцев туземцы еще не забыли все происшедшее во время посещения корвета «Витязь».

Два больших табира с вареным аяном для меня и Калеу были принесены и поставлены против нас, что послужило знаком, чтобы вся толпа, окружавшая нас, немедленно разошлась, оставив нас одних. Когда мы поели, все вернулись обратно, и некоторые предложили мне приготовить для меня кеу, от чего я отказался.

Несмотря на желание собравшейся публики продолжать общий разговор, я предпочел отдохнуть и, сказав, что хочу спать, растянулся на барле, привыкнув уже давно ничем не стесняться при публике. Туземцы, видя, что я закрыл глаза, продолжали свой разговор шепотом. Многие разбрелись. Отдохнув более часа, я сделал прогулку в лес, сопровождаемый десятком молчаливых туземцев. Я заметил в лесу около Гарагасси многих птиц, которые не попадались мне прежде. Вернувшись в деревню, я заявил, что желаю иметь несколько телумов и человеческих черепов. Мне принесли несколько обломанных деревянных и глиняных (*В рукописи, очевидно, ошибка: длинных*) фигур. Ни одна никуда не годилась, что очень опечалило хозяев. На палке принесли мне 2 человеческих черепа. Я спросил, где челюсти. Оказалось, как обыкновенно: «Марем арен». Когда я отказался от черепов, туземцы бросили их в кусты, говоря: «Борле, дигор» (нехороший, сор). Это было новое доказательство, как мало уважают туземцы здесь черепа и кости своих родственников, сохраняя только их челюсти.

Несколько молодых папуасов, сидевших против меня, занимались оригинальной операцией, именно «выкручиванием» себе волос подбородка, щек, губ и бровей с помощью вдвое сложенного, крепкого тонкого снурка. Они держали снурки очень близко к коже, причем попадающиеся волосы выкручивались между обоими снурками и малым движением одной руки выдергивались с корнем. Несмотря на вероятную боль при этой

операции, туземцы спокойно продолжали ее в течение 2 или 3 часов. Несколько туземцев усердно ели, облизывая себе пальцы, соленый пепел тлевшего большого ствола.

Очень смешно было видеть, как довольно большой мальчик, лет более 3, съев несколько кусков ямса из табира своей матери, рядом с которой он сидел, переменив положение, положив голову на колени матери, схватил толстую, отвислую грудь ее (она кормила еще другого) и стал сосать ее. Мать продолжала спокойно есть, а сын ее, напившись молока, снова принялся за ямс. Вечером, кроме вареного аяна и банан, мне сварили зрелый плод пандануса; последнее кушанье не имеет особенного вкуса и съедомая часть незначительна, но оно очень ароматично.

Я записал несколько слов диалекта Мале, который отличается от языка Бонгу. Приобрел здесь 2 черепа тиболя [...] (*В рукописи оставлено место для названия*), но без нижней челюсти, а также один небольшого крокодила [...] (*В рукописи оставлено место для названия*), которого туземцы недавно съели за один присест.

*28 октября.* Одиночество производит на Ульсона очень странное действие. Я иногда думаю, смотря на него, что его мозг начинает приходить в беспорядок: он по целым часам что-то бормочет, вдруг к чему-то прислушивается, затем снова заговорит. Нечего мне терять времени давать ему совет чем-нибудь заняться, так как он убежден, что мы скоро умрем, будем убиты или каким-нибудь другим образом погибнем. Единственно, чем он интересовался и что иногда делал, было приготовление пищи; иногда же валялся целый день, притворяясь очень больным. Мне этот ленивый трус был противен, я почти что не говорил с ним и не удостоивал даже приказывать ему; было достаточно с моей стороны, что я переносил его присутствие, кормил и поил его, когда вследствие лени или болезни он не хотел или не мог двинуться с места.

Мне много раз случалось прислушиваться очень долго: вдали точно слышатся человеческие голоса. Слушаешь, слушаешь — звуки немного приближаются, и что же оказывается? Оказывается, муха жужжит (может быть, и не муха, потому что я ее не видал, но жужжит, производя звуки, очень человекоподобные). Не только я и Ульсон ошибались много раз, но и туземцы сами бывают введены в заблуждение.

*30 октября.* Дождь и снова дождь. Течет на стол, на постель и книги... Положение мое теперь следующее: провизия вышла, хина совсем на исходе, капсуль остается около сотни, так что ходить на охоту каждый день нерационально; беру по две каждый раз, но не всегда приносишь 2 птицы. Многие препараты приходится выбросить, новых нельзя сохранять, так как спирту нет; донашиваю последнюю пару башмаков. Лихорадка сильно истощает; хижина к тому же приходит в плачевное состояние.

*2 ноября.* Сегодня ночью с треском обрушилась боковая веранда. Думал, что вся хижина валится. Дождь шел весь день, так что поправлять веранду я и не подумал. Птиц не было слышно.

*3 ноября.* Утром приходил Туй, и так как был проливной дождь, то я должен был принять его под навесом. Я его поместил на веранде, у самой двери моей комнаты, около которой я сидел; он пришел просить меня прекратить дождь, уверяя, что люди Горенду и Бонгу все сделали, чтобы заговорить дождь, но без успеха. Если Маклай это сделает, то дождь непременно перестанет. Туй просидел долго, и я узнал от него множество мелких, но интересных подробностей папуасской жизни. Хотя я порядочно говорю на диалекте Бонгу, но все-таки мне еще потребуются года, чтобы действительно познакомиться с образом мышления и с образом жизни этих людей. В продолжение 15 месяцев я ни разу не



присутствовал при церемонии их бракосочетания; ни разу — при операции «мулум» (обрезание) и не видел много, много другого.

*4 ноября.* Отправился за ямсом рано поутру, ничего не евши по той простой причине, что в Гарагасси не было ничего съедобного. Как только пришел, решительно все жители не на шутку пристали ко мне, чтобы я прекратил дождь, потому что он очень вредит их плантациям. Каждый принес мне по несколько провизии и не хотели ничего брать за нее, прося дать им лекарство от дождя. Желая выведать у них, каким образом они сами заговаривают дождь, я предложил сделать это при мне. Бугай показал мне, как они это делают, но прибавил, что в настоящее время их оним не помогае. Туземцы уверены, что я могу, но не хочу согласиться на их просьбу.

*18 декабря.* Я согласился на просьбы туземцев и отправился на «ай» в Бонгу. Приготовление кушаний, жевание кеу, уши раздражающая музыка прошли своим чередом, и так как я запоздал, то остался ночевать в буамрамре Саула.

*19 декабря.* Хотя уже свет утренней зари проник в буамрамру, я еще не подымался, так как ночью меня много раз будили музыка и крики, которые всегда сопровождают здесь «ай».

«Биа, биа!» (огонь, огонь!) — послышалось в некотором расстоянии от буамрамры. Несколько туземцев вошли, очень встревоженные, и заявили, что около Кар-Кара виден огонь или дым от огня. «Так что же? Люди Кар-Кара жгут унан», — сказал я, потягиваясь, но все еще не вставая. «Нет, это не в Кар-Каре виден дым, а из моря он выходит. Скажи, Маклай, что это такое?» — «Я посмотрю, а потом скажу», — отвечал я. Несколько человек прибежали, крича: «Маклай, о Маклай, корвета русс гена; биарам боро» (Маклай, о Маклай, русский корвет идет; дым большой). Еще не веря новости, я оделся и отправился к морю. При первом взгляде сомнение было невозможно: дым принадлежал большому пароходу, вероятно, военному судну, корпуса которого еще не было видно, но можно было заметить, что судно приближается. Во всяком случае, мне надо было отправиться сейчас же в Гарагасси, поднять флаг у хижины, переодеться и отправиться навстречу судна. Какой бы национальности оно ни было, командир его не откажется взять мои письма, уступить мне несколько провизии и перевезти больного Ульсона до ближайшего порта, посещаемого европейскими судами. Все это я обдумал, сидя на платформе пироги, которая везла меня из Бонгу в Гарагасси.

Ульсон еще лежал на своей койке и по обыкновению охал, но когда я ему сказал, что мне надо флаг, что военное судно приближается, я подумал, что человек этот положительно с ума сошел. Он так болтал несвязно и не то плакал, не то смеялся, что я стал опасаться, не случился бы с ним какой-нибудь припадок. Я поспешил поднять русский флаг на флагштоке, сделанном еще матросами корвета «Витязь». Как только флаг был на месте и легкий ветер развернул его, я заметил сейчас же, что судно, которое было около островов (*Ошибка. Следует:* острова) Ямбомба, переменяло курс и направилось прямо в Гарагасси. Я вернулся в мою комнату, хотел переодеться, но нашел это совершенно лишним. Платье, которое я мог бы надеть, было во всех отношениях одинаково с тем, которое уже было на мне. Я сошел вниз к песчаному берегу, и немало труда стоило мне убедить троих туземцев отправиться со мною навстречу приближающемуся судну. Я уже мог различить русский флаг. Сагам и Дигу гребли очень медленно, следя более за движением судна и беспрестанно прося меня вернуться на берег. Я мог видеть офицеров на мостике, смотрящих на меня в бинокль. Наконец, мы были так близки к судну, которое шло теперь малым ходом, что я невооруженным глазом мог различить несколько знакомых лиц между офицерами. Они также узнали меня.

Мое внимание было отвлечено состоянием моих спутников, Сагала (*Ошибка. Следует: Сагама*) и Дигу. Вид такого большого количества людей привел их в сильное волнение; когда же по приказанию командира матросы были посланы по реям и когда они прокричали трехкратное «ура», мои папуасы не выдержали, выпрыгнули из пироги и, вынырнув далеко от нее, стали плыть к берегу. Гребки также были захвачены ими или брошены в море. Я остался один в пироге и без гребков. Пришлось кое-как, гребя руками, приблизиться к клиперу и поймать брошенный мне конец. Наконец, я взобрался на палубу, где общая суматоха и множество людей странно подействовали на меня.

Я был встречен командиром клипера «Изумруд» М. Н. Кумани и офицерами. Все были очень любезны, но говор кругом сильно утомлял меня. Мне было сказано, что клипер был послан его высочеством генерал-адмиралом и что, между прочим, господин Р. был переведен с корвета «Витязь» на клипер «Изумруд» специально для того, чтобы указать место, где должны были быть зарыты мои бумаги, так как в Европе распространился слух, что я был убит или умер, и даже многие из офицеров признались, что, увидя человека в европейском платье, выехавшего им навстречу, они думали, что это Ульсон, так как были почти уверены не застать меня в живых. Я попросил командира позволить мне отправиться домой и приехать через несколько часов переговорить с ним.

Приход клипера был так неожидан, что я не составил себе еще плана о том, что предприму. Самым подходящим мне казалось с помощью людей клипера поправить мою хижину, достать с клипера новый запас провизии и остаться здесь продолжать исследования, отослав до следующего порта никуда не годного мне Ульсона. Я мог также послать мой дневник и метеорологический журнал Географическому обществу и написать начатое письмо об антропологии папуасов академику К. Э. фон Бэру.

К обеду я вернулся на «Изумруд». Михаил Николаевич сказал мне, между прочим, что по случаю моего не слишком хорошего здоровья он желал бы, чтобы я уже с сегодняшнего дня поселился на клипере, а перевоз моих вещей из Гарагасси на клипер предоставил бы одному из молодых офицеров. Это предложение показалось мне немного странным. «А кто Вам, Михаил Николаевич, сказал, что я пойду с вами на клипере? Это далеко еще не решено, и так как я полагаю, Вам возможно будет уделить мне немного провизии, взять с собою Ульсона и мои письма до ближайшего порта, то мне всего лучше будет остаться еще здесь, потому что мне еще предстоит довольно много дела по антропологии и этнологии здешних туземцев. Я попрошу Вас позволить ответить Вам завтра, отправлюсь ли я на «Изумруде» или останусь еще здесь».

Михаил Николаевич согласился, но я мог заметить, что мои слова произвели на многих курьезное впечатление. Некоторые подумали (я это знаю от них самих), что мой мозг от разных лишений и трудной жизни пришел в ненормальное состояние. Я узнал, между прочим, от командира, что голландское правительство посылает военное судно с ученою целью вокруг о. Новой Гвинеи. Это обстоятельство сильно заинтересовало меня; я мог бы, таким образом, подкрепив мое здоровье морской экскурсией, вернуться с новыми силами и новыми запасами на Берег Маклая. Я рано вернулся в Гарагасси и заснул вскоре, как убитый, после утомительного дня, предоставив себе на другое утро решить важный для меня вопрос: ехать или нет?

*20 декабря.* Желание командира «Изумруда» было остаться здесь по возможности на короткое время, так как на этом месте после непродолжительной стоянки на корвете «Витязь» заболело [...] (*В рукописи пропуск*) человек. Это было одно; но в 2 или в 3 дня я не в состоянии буду написать достаточно подробный отчет Географическому обществу; послать же мой дневник в том виде, как я его писал, мне также кажется неудобным.

Другое обстоятельство, важное для меня, было известие, что если я приму необходимые меры, то буду иметь возможность вернуться сюда на голландском судне. Одно мне казалось положительным — это то, что мне необходимо будет вернуться сюда снова, где вследствие знакомства с туземным языком и заслужив полное доверие туземцев, дальнейшие исследования по антропологии и этнологии мне будут значительно облегчены. Это были мысли, которые на другое утро привели меня к решению оставить на время Берег Маклая, с тем чтобы вернуться сюда при первой возможности.

Когда я объявил капитану М. Н. Кумани мое решение, он спросил меня, как долго мне необходимо будет, чтобы собраться. Я ответил, что через 3 дня после того, как «Изумруд» бросил якорь, он будет в состоянии поднять его и идти куда пожелает. Остающиеся 2 дня я предоставил себе на упаковку вещей и на прощанье с туземцами. Михаил Николаевич любезно уступил мне одну из своих кают, и я уже перевез многие вещи из Гарагасси. Вечером пришли ко мне с факелами много людей из Бонгу, Горенду и Гумбу; между ними были также жители из Мале и Колику-Мана. Туй, Бугай, Саул, Лако, Сагам и другие, главным образом те, которых я более знал и которые чаще бывали в Гарагасси, особенно сокрушались о моем отъезде и, наконец, пришли к решению: просить меня остаться с ними, не ехать, а поселиться на этом берегу, уверяя, что в каждой деревне на берегу и в горах мне будет построен дом, что для каждого дома [255] я могу выбрать в деревне из девушек по жене или даже по две, если одной недостаточно.

Я отклонил это предложение, сказав, что вернусь со временем и опять буду жить с ними.

Люди Гумбу пристали ко мне идти в Гумбу, где, кроме всех местных жителей, собрались люди Теньгум-, Энглам- и Самбуль-Мана и что все желают меня видеть. Не желая отказать, может быть, в последний раз, я пошел, окруженный большою толпою туземцев с факелами в руках .

В Гумбу было повторение сцены, бывшэй в Гарагасси. Все просили меня остаться. Мне мало пришлось спать, и когда к утру я хотел подняться, то почувствовал значительную боль в ногах. Последние два дня я много ходил и не обращал внимания на раны на ногах, которые сильно опухли и мешали очень при ходьбе. Я пошел, однако ж, по берегу, желая вернуться скорее в Гарагасси. Боль была так сильна, что, устроив из нескольких перекладин род носилок, я был перенесен туземцами на них до мыска Габина, а оттуда перевезен на клипер, где я отдохнул и где раны мои были обмыты и перевязаны .

По приказанию командира толстая доска красного дерева, на которой была прибита медная с вырезанною надписью:

VITIAZ. Sept. 1871.

MIKLOUHO-MACLAY

IZOUMROUD. Dec. 1872

Должна была быть прибита к одному из деревьев около моей хижины в Гарагасси. Я отправился, несмотря на больные ноги, указать сам место, которое для этого будет самым подходящим. Я выбрал большой *Canarium commune*, самое высокое и представительное дерево в Гарагасси . Я провел остаток дня дома, доканчивая упаковку вещей, потому что завтра будет последний день моего пребывания в этой местности.

*21 декабря.* Вечером, засыпая, я думал, что в продолжение 11 месяцев и даже более я не нашел времени устроить мою койку более удобным образом и что край корзины, на которой помещалась верхняя часть моего тела, будучи дюйма на два выше крышки другой, где лежали мои ноги, мог бы быть сделан для меня менее чувствительным весьма простым образом: стоило только подложить два бруска под более низкую корзину. Разумеется, я не подумал тревожиться об этом в последнюю ночь проспав столько ночей и часто пробуждаясь вследствие неудобства койки.

Я вчера уговорил туземцев приехать на клипер осмотреть его и действительно, довольно многие явились в Гарагасси, но весьма небольшое число отправилось со мною на клипер, а еще меньше отважилось взобраться на палубу. Но там вид множества людей и разных аппаратов, для них непонятных, так испугал их, что они ухватились со всех сторон за меня, думая быть таким образом в безопасности. Чтобы удовлетворить их и не быть стесненным в моих движениях, я попросил одного из матросов принести мне конец; середину его я обвязал себе вокруг талии, а оба конца веревки предоставил моим папуасам. Таким образом, я мог идти вперед, а папуасы воображали, что держатся за меня.

С таким хвостом, беспрестанно останавливаясь, чтобы отвечать и объяснять туземцам разные предметы, обошли мы всю палубу. Пушки пугали их: они отворачивались и переходили к другим предметам. Что их особенно поразило и вместе с тем заинтересовало, были 2 небольших бычка, взятых как живая провизия для команды; они не могли наглядеться на них и просили подарить им одного. Спросив название, они старались не забыть его, повторяя: «бик, бик, бик». Спустились вниз, в кают-компанию; дорогою туда машина им очень понравилась. Разумеется, они не могли понять, что это такое. Затем большие зеркала в кают-компании, в которых они могли видеть нескольких человек сразу, очень понравились им. Фортепиано, которое я назвал «ай боро русс» не только обратило их внимание, но одному из них захотелось даже самому попробовать его. Я поспешил выпроводить их наверх.

На палубе одному из туземцев захотелось вновь посмотреть быков; он обратился ко мне, но, забыв название «бик», стал спрашивать о «большой русской свинье». Не поняв его, я отвечал что никакой свиньи на корвете нет; тогда, чтоб более точно назвать животное, он прибавил, что хочет видеть «большую русскую свинью с зубами на голове». Один из товарищей его подсказал; ему «бик», и они все хором затаили: «бик», «бик». Видя, что они достаточно освоились с палубой, я высвободился из петли и предоставил им свободно ходить по ней.

Сегодня же последние мои вещи были привезены из Гарагасси, и Ульсон также перевезен на корвет и, как больной, помещен в лазарет. Перед отъездом Туй просил сказать ему, через сколько месяцев я вернусь в Гарагасси. Даже и теперь, уезжая, после пятнадцатимесячного пребывания, я не мог сказать «много», так как этого слова я до сих пор не узнал, почему ответил «навалобе», что значит приблизительно «со временем».

*22 декабря.* С самого утра несколько пирог окружали клипер, и мне постоянно докладывали, что «черные» хотят видеть меня или зовут меня. Когда я выходил, туземцы кричали [...] (*В рукописи пропуск*), но шум якоря, который стали подымать, и несколько оборотов винта разогнали скоро все пироги, и крики «Эме-ме» и «Э-аба» стали не так ясно доноситься с берега, как с пирог. Когда клипер стал подвигаться вперед и огибать мысок Габина, раздались удары барума почти одновременно в Горенду и Бонгу; когда же корвет прошел мысок Габина, к этим звукам присоединился барум Гумбу. Отдаляясь, мы еще

долго слышали барум; проходя Били-Били, я мог в бинокль ясно, видеть туземцев, которые сидели, стояли и ходили вдоль скалистого берега.

Пройдя архипелаг Довольных людей и порт Великий князь Алексей, мы обогнули Сар Croissilles и вошли в пролив между материком Новой Гвинеи и о. Кар-Кар, который я назвал на моей карте проливом «Изумруд».

---

### **Краткое сообщение о моем пребывании на восточном берегу о. Новой Гвинеи в 1871 и 1872 годах**

19 сентября 1871 г. около 10 часов утра открылся высокий берег Новой Гвинеи близ мыса King William, и на другой день, в 4-м часу пополудни, корвет «Витязь» бросил якорь недалеко от берега в заливе Астролаб. С двумя слугами отправился я на берег и в одной из близ берега лежащих деревень, из которой большинство жителей при нашем приходе разбежались, встретил первых папуасов. Они с большою боязнью предложили мне разные подарки: кокосовых орех, банан и свиней.

Так как корвет спешил в Японию и посетить для выбора несколько местностей восточного берега Новой Гвинеи нельзя было, то я решил остаться здесь. На другой же день я выбрал место для хижины, и плотники корвета начали ее строить. Следующие 4 дня были употреблены на постройку хижины, очистку кругом ее леса и перевозку вещей. Командир и офицеры корвета с большою любезностью помогали мне и даже снабдили меня разными вещами и припасами, которые мне доставали, за что я всем им приношу здесь мою искреннюю благодарность. 27 сентября утром корвет ушел.

Туземцы, которые во все время пребывания корвета показывались трусливо и в небольшом числе, но уходе его в тот же день нахлынули толпами ко мне из ближайших деревень, с расспросами, вернется ли корвет, долго ли останусь и т. д. Они казались очень недовольными, что я поселился в их соседстве, и хотя принесли мне несколько подарков, не расставались со своим оружием, посматривали на меня очень недружелюбно, а когда я не пустил толпу в мою хижину, некоторые стали грозить мне своими копьями.

Установив вещи и устроившись в моем помещении (хижина имела 1 саж. ширины и 2 саж. длины, была разделена парусинного перегородкою на две половины, так что я помещался в комнате в одну квадратную сажень, другую половину занимали мои слуги), я начал знакомиться с местностью. Несколько лесных тропинок вели из одной деревни в другую, далее идти было неудобно без *(Правый верхний угол листа рукописи оборван. Слова в скобках восстанавливаются по публикации 1939 г.)* проводников, которых нельзя было достать: никто не хотел идти, мне пришлось поэтому ограничиться тремя соседними деревнями. Жители оказались очень подозрительными, и им очень не нравились мои визиты, хотя сами приходили ко мне за табаком или за разными безделками, которые я им дарил или выменивал на плоды и овощи. Они очень следили за каждым моим шагом и в особенности, когда я подходил к их деревням. Я стал понемногу изучать их язык, но изучение шло медленно, папуасы неохотно и лениво отвечали на мои вопросы.

Один из моих слуг, полинезиец с о. Ниуе, слег, к хронической серьезной болезни присоединилась сильная местная лихорадка. Его примеру последовал и другой слуга, европеец, швед по происхождению, бывший матросом на китобойном судне. Мне пришлось готовить пищу для троих, лечить больных и ухаживать за ними, носить воду, рубить дрова, принимать визиты папуасов, делать метеорологические и другие

наблюдения. Однако же Ульсона (шведа) я поставил вскоре на ноги, и он мог помогать мне. В начале ноября, полтора месяца по приходе, и я почувствовал первые пароксизмы лихорадки, которые уже не покидали меня во все время пребывания в Новой Гвинее, возвращаясь каждые две недели один, иногда и два раза, очень ослабляя организм и мешая многим предприятиям. Пароксизмы сопровождалась бредом и сильную опухолью лица, шеи и рук, которая опадала в апирекциях.

Папуасы разных береговых и горных деревень почти ежедневно толпами посещали мою хижину, так как молва о моем пребывании распространялась все далее и далее. Это было разнообразием моей монотонной жизни с двумя больными, но подчас, чувствуя и себя крайне нездоровым, посещения папуасов, с их подозрительностью и любопытным нахальством, были мне даже неприятны. Риф, который окружал мысок, где стояла моя хижина, мог бы быть источником интересных зоологических наблюдений и исследований, но для этого я должен был бродить по пояс или по колено в воде, следствием чего было возобновление пароксизмов, почему я должен был отказаться и от этого. Наконец, полинезиец, который не хотел принимать никаких лекарств, хотя страдал сильно хронической (*Далее зачеркнуто: своею*) болезнью, очень изнуренный лихорадкой, умер 14 декабря, прослужив мне как повар только полторы недели.

Между тем папуасы, видя, что нас только двое, что, кроме того, Ульсон часто болеет (сам же я, когда болел, тщательно скрывал то от туземцев), незнакомые с огнестрельным оружием, которое я им до того времени не показывал, не желая увеличить их подозрительность и боясь еще более отстранить их от себя, предполагая большие сокровища в моей хижине, делались все нахальнее, требовательнее и стали угрожать меня и Ульсона убить.

Я принимал их угрозы шутками или не обращал на них внимания, по-прежнему ходил по лесу, посещал их деревни. При моем появлении подымалась в деревнях страшная суматоха: женщины и дети с визгом бросались в хижины и в лес, собаки выли, мужчины с оружием, с криком и особенным воинственным рычанием сбегались и окружали меня; не раз потешались они, пуская стрелы так, что последние очень близко пролетали около моего лица и груди, приставляя свои тяжелые копыя вокруг головы и шеи и даже подчас без церемоний совали острие копий мне в рот или разжимали зубы. Я отправлялся всюду невооруженный, и индифферентное молчание и полное равнодушие к окружающему были ответом на все эти любезности папуасов.

Исключая двух или трех царапин, никто не решался нанести мне серьезную рану: диких ставил втупик мой неизменный индифферентизм; я же, поняв, в чем заключается моя сила, не изменял своего обращения с ними, решил, что когда-нибудь папуасы привыкнут к моим посещениям и к моей личности, и спал спокойно в папуасских деревнях, несмотря на копы и стрелы туземцев, которые не расходились, даже когда я засыпал.

Однако же время шло; я во что бы ни стало хотел добраться до горных деревень, а для этого проводники были необходимы. Несмотря на наши натянутые отношения, я отправился в Бонгу (2-я ближайшая береговая деревня от моей хижины) и объяснил, что я хочу идти в горную деревню Колику-Мана, что для этого мне нужны люди, чтобы нести вещи. Начались переговоры между папуасами, потом они стали советовать мне не ходить: дорога дурная, камни, глубокие ручьи, горные люди убьют меня и т. п. Увидев, что уговариванием и обещанием ничего не поделаешь, я встал и объявил им, что иду один в Колику-Мана; вынув не большой компас, прибавил, что эта движущаяся стрелка покажет мне дорогу, а если что со мною случится, всем им будет плохо. Приняв очень серьезный вид, я вышел из умолкнувшей толпы, которая казалась озадаченной и боязливо

расступилась. Таинственная коробка с живою движущеюся иглою, слова и моя решимость подействовали: через 1/4 часа меня нагнали несколько человек с изъявлением готовности идти со мною и защищать от горных жителей. Так совершил я первую более отдаленную экскурсию, за которой последовали другие.

Заметив, что наша провизия сильно убывает, и не надеясь постоянно получать свежие припасы от соседей, я разделил ее на порции, приблизительно до следующего августа месяца. Эти порции риса и бобов были очень невелики; к тому же почти полное отсутствие (*Зачеркнуто*: недостаток) животной пищи было очень чувствительно, так что я стал чувствовать, что силы мои значительно уходят при частых приступах лихорадки. Недоверие папуасов было так велико, что в продолжение целых пяти первых месяцев нашего обоюдного знакомства они не решались даже показать своих жен и детей, которые убегали и прятались при моем приближении. Это недоверие, явно недружелюбная замкнутость и трудность проникнуть в горы подали мне даже мысль отобрать часть вещей, нагрузить ими оставленную мне «Витязем» шлюбку и отправиться далее по берегу, искать более благоприятного пристанища и более гостеприимных жителей. Это было в конце января 1872 г.

Два обстоятельства помешали, однако же, исполнению этого плана. Первое было то, что шлюбка, стоящая долгое время на якоре около кораллового рифа, оказалась проеденною червями, сильно текла и была неспособна для дальнего, может быть, плавания; второе обстоятельство было изменение отношений папуасов ко мне, которые стали искать сближения со мною и даже моего расположения. Причины тому были многие, между прочим та, что я помог выздоровлению одного папуаса, которому свалившееся дерево проломило (*Было*: прошибло) голову. Каждый день перевязывая рану и видясь с жителями деревни, где лежал раненый, я приучил их настолько к себе, что они стали позволять женщинам оставаться в моем присутствии и гораздо охотнее стали приносить мне съестные припасы в обмен за табак. Более важная причина желания сближения со мною лежала, как я узнал потом, в событиях, происшедших в папуасском политическом мире. Между моими соседями и жителями нескольких береговых деревень была объявлена война; мои соседи ожидали нападения со стороны неприятелей. Как более слабые и предполагая, что я обладаю какою-то таинственною силою, которая мне позволяет не бояться и относиться равнодушно к их копьям и стрелам, они сочли удобным приобрести во мне союзника и просили позволения, в случае нападения, прислать ко мне под мое покровительство своих жен и детей. Хотя мне не хотелось вмешиваться в их распри, но я на многое согласился, видя случай сблизиться, наконец, с этим недоверчивым племенем. Нападения на деревню не случилось, война ограничилась стычками в лесах; неприятель, услышав, что я стану на сторону моих соседей, и напуганный преувеличенною молвою о моей таинственной силе и моем могуществе, заключил с моими соседями продолжительное перемирие.

Все эти обстоятельства позволили мне, наконец, свободно заглянуть в семейную и общественную жизнь папуасов, видеть многие обычаи и при частых сношениях изучить их язык, так что я свободно мог объясняться с ними об ежедневных делах. Под разными предложениями я посетил многие горные деревни, причем мои соседи оказались хорошими проводниками и переводчиками, так как почти в каждой деревне туземцы говорят на другом диалекте, непонятном для папуасов ближайших деревень. При этих экскурсиях я узнал, что выше 1200—1500 футов в горах около Астролаб-Бай (доходящих приблизительно до 7000 и 8000 ф) жителей нет, тропинки также находятся только около деревень, выше горы покрыты труднопроходимым тропическим лесом. Это отсутствие жителей, а в особенности тропинок были для меня непреодолимым препятствием

подняться выше в горы; никто не соглашался идти со мною, несмотря на щедрые обещания, уверяя, что тропинок нет и что в горах нечего есть.

Идти одному без провизии или с небольшим запасом ее, неся на себе (*Было*: с собою) принадлежности для ночлегов, перемену платья, оружие для охоты и кое-какие аппараты для рисования и наблюдений, показалось мне нерациональным; в такой сбруе я с трудом выдерживал трех- и четырехдневные экскурсии по проложенным тропинкам; чтобы добраться до вершины гор, потребовались бы недели. Взять Ульсона было тоже невозможно, он болел, был слаб и почти весь день лежал. Эти обстоятельства, к которым присоединилась мысль, что еще и у моих соседей многое остается для меня, об чем следует разузнать, и нередкое истощение сил вследствие лихорадки и недостаточной пищи убедили меня подчиниться обстоятельствам и ожидать в окрестностях моей хижины прихода русского судна, которое, может быть, могло бы прийти.

Моя провизия давно бы уже истощилась, если бы я не пользовался свежими овощами (*Было*: припасами) папуасов и если бы охота благодаря отличному ружью не была бы так удачна. Туземцы приносили мне иногда интересных животных (кускусов, кенгуру, ящериц, змей и т. п), но, к сожалению, редко; некоторых же животных, несмотря на обещания подарков, мне не удалось получить, как, например, казуара, которого мне также не пришлось ни разу встретить на охоте.

При одной экскурсии в горы я с высоты увидел, что у мыса Дюпере находятся несколько островов. В августе 1872 г. я собрался посетить ту часть берега. Починив не без труда шлюбку, я отправился за мыс Дюпере (*Было*: на эти острова) и нашел там архипелаг, состоящий не менее как из с лишком 30 островков, все кораллового происхождения, расположенные отчасти в небольшой бухточке, отчасти тянувшиеся вдоль берега. Жители этих островов, уже давно слышавшие о моем пребывании на берегу Гвинеи, знавшие твердо мое имя, приняли меня очень дружелюбно. Нашлись между ними такие, которые уже были в моей хижине посмотреть на белого человека и которые упрашивали переехать к ним.

Жизнь этих людей, их отношение между собою, обращение их с женами, детьми, животными произвели на меня впечатление, что эти люди довольны вполне своей судьбою, самими собою и всем окружающим. Я назвал поэтому эту группу островов, на которой еще не был, кроме меня, ни один европеец и которая не нанесена еще на картах, архипелагом Довольных людей — название, которое жители пока заслуживают. Этот архипелаг, обитаемый мирным населением, которое возделывает многие корнеплодные растения, разводит свиней и кур, может представить удобную якорную стоянку, представляет то громадное преимущество, что климат относительно здоров, лихорадки (как мне сообщали жители) очень редки, что очень вероятно, потому что небольшие островки эти обладают более морским, чем береговым климатом. К тому же в бухту впадает значительная река с хорошою водою. Этот архипелаг, если со временем будет сделан промер, может оказаться гораздо более удобным якорным местом, чем глубь залива Астролаб.

Вернувшись с архипелага Довольных людей, я застал Ульсона в худшем положении, чем прежде: к лихорадке присоединился хронический ревматизм; он не вставал с постели и целый день стонал. Я терял поэтому много время на хозяйственные заботы, носку воды и дров, приготовление пищи; особенно утомительно была поддержка постоянного огня. От сырости мои запасы спичек (несмотря на залуженные жестянки) почти все оказались негодными, пришлось около семи месяцев рубить большие деревья и, перенося толстые пни в шалаш, который служил мне кухнею, поддерживать ими постоянный костер.



В августе, не увидав ни одного судна, которого постоянно надеялся открыть на горизонте, Ульсон потерял последние остатки энергии, даже стал заговариваться, так что я серьезно боялся за его рассудок. С этих пор он не только ничего не помогал мне, но стал для меня обузой и много мешал, так как мне приходилось кормить и лечить его.

Как неутешительна была моя жизнь с этой стороны, так успех с другой ободрял и даже увлекал меня. Я близко сошелся с моими соседями и успел познакомиться со многими их обычаями, которые они до того времени тщательно от меня скрывали. Отношение диких ко мне совершенно стало другое, чем первые 5 или 6 месяцев. Мое равнодушие к их стрелам и копьям (*Было:* касательно их стрел и копий), мое неизменное слово при обещаниях, мои далекие экскурсии в труднопроходимом лесу, в горах, несмотря на время,— днем в жару, ночью часто при сильных тропических грозах, при нередких землетрясениях,— мое внезапное появление при таких условиях без провожатых в деревнях, где обо мне знали только понаслышке, вселило у папуасов не одно удивление, но и род суеверного почтения или страха ко мне, которые преодолели, наконец, их подозрительность и недружелюбие. К тому же помощь больным и подарки сделали мне несомненных друзей.

Не видав до прихода «Витязя» ни одного судна, папуасы были твердо убеждены, что они единственные жители земного шара. Видя, что я физически отличен от них, и предполагая во мне особенные, непонятные для них качества, они не хотели верить, что я такой же человек, как они, и, раз придумав, что я явился к ним с луны, эта мысль так засела в их головах и так распространилась, что никто не верил, когда я отрицал это происхождение. Кроме моего имени «Маклай», которое они знали и помнили с первого же дня моего знакомства с ними, они стали звать меня «каарам-тамо» (человек луны) или «тамо-боро-боро» (человек большой-большой), ставя меня выше самых старых и почитаемых глав семейств, которых они называют просто «тамо» и редко «тамо-боро» (человек, человек большой). Они приходили ко мне, прося изменить погоду или направление ветра; были убеждены, что мой взгляд может вылечить больного или повредить здоровому, думали положительно, что я могу летать и даже, если захочу, могу зажечь (*Было:* сжечь) море.

Несмотря на предполагаемое всемогущество, мое положение становилось довольно затруднительным: крыша текла, столбы, на которых стояла хижина, проточенные муравьями, стали обваливаться; приходилось ставить подпорки из боязни, что пол или даже вся хижина в один прекрасный день обрушится; запасы хины почти истощились (так как меньшая доза, которую я принимал для купирования лихорадки и которую давал также Ульсону, была два грамма). Что касается до пищи, то уже давно я употреблял только то, чем питались туземцы. Охотой тоже приходилось пользоваться очень умеренно, так как из взятых 1500 капсуль оставалось у меня не более как 300. От 12 пар обуви разного рода не оставалось ни одной цельной; мне пришлось, срезав голенища охотничьих сапог, ходить в этих тяжелых и неудобных башмаках. Явились раны на ногах, которые не заживали. Здоровье Ульсона становилось с каждым днем плоше, и я решил по смерти его, которую ожидал (*Далее зачеркнуто:* вскоре), переселиться в горы, отчасти чтобы поправить свое здоровье, предполагая, что лихорадка в горах не так злокачественна, отчасти чтобы изучить очень разнообразные диалекты горных жителей. Жители разных деревень предлагали мне построить новую хижину, я хотел воспользоваться предложением, чтобы оставить в одной из береговых деревень мои вещи, а самому перебраться в горы.

Для переговоров о постройке новой хижины находился я утром 19 декабря прошлого года в Бонгу (в одной береговой деревне), когда несколько встревоженных папуасов

прибежали ко мне, уверяя, что в одном месте между островами Кар-Кар и Били-Били (о. Дампира и о. Витязя) из моря выходит дым, прося меня сказать, что это такое значит. Небольшое темное облачко действительно виднелось на горизонте в указываемом месте; я не мог иначе объяснить его, как дымом приближающегося или проходящего парового судна. Это предположение оправдалось, минут через 10 можно было различить топы мачт. Папуасы были в большом смятении, хотели сейчас же угнать своих жен и детей в горы; я с трудом уговорил их оставить всех в деревнях. Вернувшись в пироге домой, я поднял русский флаг у хижины и стал ожидать приближение судна, которое признал сперва за русское по флагу, а потом за клипер «Изумруд».

Немало уговаривания и приказаний потребовалось, чтобы заставить папуасов войти в пирогу и выехать со мною навстречу клиперу. Мне понадобился весь мой авторитет «человека луны», чтобы папуасы не вернулись бы к берегу, когда от клипера отвалил катер, чтобы сделать промер для якорного места. На нем я узнал офицера, г-на Рончевского, служившего прежде на «Витязе» и бывшего при моей высадке на этом берегу. Мои папуасы страшно боялись (*Было*: очень боялись клипера) и чуть было все не бросились в воду, когда с вант клипера раздалось трехкратное «ура», которым я был встречен, приблизясь к «Изумруду». Пена и шум винта, гул отданного якоря, опущенный трап одно за другим пугали моих гребцов, которые дрожали, просили вернуться на берег и еле-еле управлялись с пирогами.

Наконец, я подъехал и вошел на клипер, где был радушно встречен М. Н. Кумани и офицерами, с которыми я еще прежде познакомился во время стоянок «Витязя» на о-вах Зеленого Мыса и в Рио-де-Жанейро. От них я узнал, что клипер прислан в Астролаб-Бай по особенному приказу его императорского высочества генерал-адмирала, что они удивляются, застав меня в живых, и что английские газеты меня уже похоронили. Так как мой завтрак в Бонгу был прерван новостью, что из моря подымается дым, а с того времени прошло около полтора часа, то я не отказался продолжать завтрак на клипере. После папуасской кухни европейские кушанья показались мне очень странными на вкус, особенно сладкие, так как сахару я не пробовал уже более года. Соль была также приятною новинкою; последние семь месяцев я все варил и ел с морской водою, так как соль у меня вся вышла. Меня офицеры любезно снабдили обувью, в которой я очень нуждался, и бельем — мое вследствие сырости было очень гнило и отчасти проедено насекомыми. После завтрака несколько офицеров и я отправились на берег. Я показал им мое помещение в одну квадратную сажень, заставленное вещами, с текущею крышею, с дырявыми стенами и еле держащимся полом. Ульсон был вне себя от радости выбраться с этого ненавистного для него берега; он как будто бы ожил, даже перестал постоянно стонать.

Папуасы в ту же ночь пришли уговаривать меня не оставлять их, обещая построить большую хижину, дать мне запасы кокосовых орех и разных корней. Я действительно колебался оставить Астролаб-Бай, приход «Изумруда» был так неожидан, я уже привык к мысли остаться всю жизнь на этом берегу, что просил командира дать мне время до следующего утра обдумать, иду ли я на «Изумруде» или остаюсь. Трудность попасть на этот берег, знакомство с местностью, с жителями, с языком, отношение туземцев ко мне, новые запасы провизии и некоторых необходимых вещей, которые я мог бы получить теперь с клипера, сильно поддерживали желание остаться, но состояние здоровья, невозможность привести в порядок в несколько дней мои дневники для отсылки в Европу, а главное, возможность в следующем году возвратиться в Новую Гвинею на голландском военном судне, которое должно будет отправиться, как мне сообщил г-н Кумани, вокруг острова, говорили за уход на время из Новой Гвинеи. Плавание на «Изумруде», который

отправлялся в голландские колонии, могло к тому же значительно поправить мое здоровье, необходимое для второй экспедиции.

На другое утро я решил оставить Берег Маклая в Новой Гвинее (Я таким образом называю берег Новой Гвинее вокруг Астролаб-Бай и бухты с архипелагом Довольных людей по праву первого европейца, поселившегося там, исследовавшего этот берег и добившегося научных результатов) и стал укладывать вещи. Днем я был занят сборами, причем некоторые офицеры клипера были так любезны помогать мне, по ночам беседовал с папуасами, которые днем мало показывались, боясь клипера, ночью приходили, зная, что я один в хижине. Они усердно просили остаться, обещая все сделать, что я ни потребую, уверяли, что на них по моем уходе нападут старые неприятели. Я две ночи ходил в деревни, сопровождаемый целою толпою туземцев с факелами, чтобы освещать путь. Соседние деревни устроили прощальные пиры, на которые стеклись много жителей других деревень с подарками. При этом они с разными обрядами и церемониями прощались со мною, и каждый давал мне в подарок кокосов и разных корней. На последнем ночном собрании старики предложили мне в каждой деревне построить по хижине, дать в каждую много съестных припасов и по жене (*Далее зачеркнуто*: в каждую) для хозяйства, просили это принять и поочередно жить по несколько времени в каждой деревне. Я отказался от подарков, раздавал вместо того свои и обещался при прощанье, может быть, к ним вернуться.

Наконец, все было у меня готово, вещи уложены, перевезены на клипер, подарки туземцам розданы, и 24 декабря с рассветом «Изумруд» стал поднимать якорь.

Папуасы, стоя около моей полуразрушенной хижины, не смея из боязни «тамо-русс» (людей русских) близко подъехать к клиперу, издали кричали мне свои последние «Эме-ме!» и «Э-аба-э!»; когда же клипер снялся и стал удаляться, раздались далекие удары «барума» (большой барабан), возвещавшие соседним деревням, что «человек луны» покинул берег Габинау (туземное название порта вел. кн. Константина), прожив там с лишним 15 месяцев хотя не легкою и не покойною, но интересною и уединенною жизнью.

Тарнате, 3 февраля 1873 г.